

Александр  
Розен

**ТРИ  
ПОВЕСТИ**

ОТ ИЗ  
ГОСАКТИЗДАТ  
ЛЕНИНГРАД

Л 30 <sup>1-1</sup> 370 а

Александр Розен

**Три  
Повести**

О Г И З

Государственное Издательство  
Художественной  
Литературы  
Ленинград. 1945



## *Зимняя повесть*

Темным ноябрьским вечером Анна Евдокимовна возвращалась домой. Холодный дождь сменился тающим в воздухе снегом. Анна Евдокимовна шла медленно, погруженная в свои мысли. Крытый грузовик, подъехав вплотную к панели, чуть не сбил ее с ног. Из грузовика выскочил человек и быстро вошел в дом, осветив фонариком дверь и ступеньки.

Анна Евдокимовна остановилась. Только что она мысленно представляла себе эти ступеньки и эту дверь. Изю дня в день, из года в год она приходила сюда. За этой дверью другая, стеклянная дверь, за ней широкий коридор, первая комната направо — учительская. Как всегда, староста класса Дима Рощин уже ждет ее. В руках у него голубой глобус и свернутые в трубку полотняные карты.

Но вот уже два месяца здесь помещается госпиталь. Ей захотелось зайти в здание и посмотреть, как там теперь... Нахмурившись, Анна Евдокимовна продолжала свой путь по

улице, вдоль которой тянулась низкая железная решетка школьного сада. Были видны сваленные в сад парты. Они громоздились неровной пирамидой, и на верхних партах белел снег.

Дойдя до конца сада, Анна Евдокимовна остановилась. Не хотелось уходить от этих знакомых и печальных мест. Было такое чувство, словно она вторично прощается со школой.

Еще два месяца назад все было ясно: здание школы нужно госпитально, она будет учить детей в другом месте; может быть, в бомбоубежище. И в самые ясные дни этой осени она надеялась: еще немного — и начнутся занятия.

Сегодня она снова была в районном отделе народного образования. Андрея Николаевича, введующего, она не нашла, и какая-то остроликая женщина сказала, что он болен.

— На что он вам? — спросила эта женщина Анну Евдокимовну. — Я вас знаю. Ну, что вы ходите? Как это дико! Поймите — дико... Ведь занятий не будет. — И заплакала.

Анне Евдокимовне остроликая женщина не понравилась, но поняла она ее ясно: занятий не будет, приходиться глуло, дико. В Ленинграде сейчас можно еще цепляться за жизнь, но работать...

Талый ледяной снег забирался за воротник пальто, ноги стыли, и Анна Евдокимовна поспешила домой.

Ветер с ожесточением рвал тучи. Снег закручивался все выше, и, наконец, последние бесформенные хлопья исчезли в небе. В лужах замелькала беспокойная луна.

Через несколько минут Анна Евдокимовна уже была в своей комнате. Подышав на стекло, она зажгла небольшую керосиновую лампу,

затем расколола полено на множество лучинок и растопила печурку. Убедившись, что печурка не дымит, поставила на нее чайник. Затем, взяв с полки книгу в старинном, с застежками, переплете, села в кресло.

Всякий раз, когда в жизни становилось трудно, она успокаивала себя чтением. Особенно любила Анна Евдокимовна Диккенса. Писатель хорошо знал сердца людей и для каждого находил слова простые и исцеляющие. Многие страницы она знала наизусть и все же вновь и вновь перечитывала их.

„Вот в толпе, которая вереницей пронесется в моем воспоминании, один образ спокойный и тихий. Он в своей невинной любви и детской прелести говорит: остановись, вспомни обо мне. Я исполню это“.

Анна Евдокимовна читала эти любимые ею строки, но книга не принесла облегчения. Тайный смысл слов не раскрывался, как всегда, перед нею. Книга оставалась холодной, не для нее написанной.

Попрежнему Анна Евдокимовна чувствовала себя разбитой, опустошенной. Читая, она думала о своей жизни.

Ей сорок восемь лет. Она одинока. Замужем она не была. Годы ее ушли. Жизнь была заполнена работой. Тридцать лет назад она тоже была учительницей, только не в Ленинграде, а в маленьком провинциальном городе. Потом... потом, если говорить все, она полюбила интересного и красивого человека, и они вместе приехали в Ленинград.

Но интересный и красивый человек вскоре ушел от нее, сказав не обидевшие слова „не люблю“. Обидно было то, что, оставшись одна,

она сразу же поняла, что могла бы навсегда сохранить его, — надо было только правильно рассчитать знакомую по книгам и чужим отношениям игру, которую многие восторженно и искренно зовут любовью.

Все это было давно, все отболело. Но разве все эти годы чувствовала она себя брошенной и одинокой? С гордостью Анна Евдокимовна могла сказать, что жизнь не оказалась скупой для нее. Четыре школьных поколения вырастила Анна Евдокимовна. Пятое должно было сесть за парты в дни, когда немцы окружили Ленинград и стали его терзать.

Она преданно служила своему делу. Иные из ее товарищей считали Анну Евдокимовну суховатой, — она всегда ровно относилась ко всем детям, — но потом, познакомившись ближе, убеждались, что это лишь характерная сдержанность, за которой видна живая человеческая душа.

Еще этим летом Анна Евдокимовна готовилась к преподаванию географии в других школах, так как многие педагоги ушли в Народное ополчение и надо было их заменить. Еще в сентябре ей поручили подыскать новое помещение для занятий. Еще неделю тому назад она разговаривала с Андреем Николаевичем. Но, может быть, Андрей Николаевич зря ее обнадежил?

Сегодняшний день как бы подвел итоговую черту. За этой чертой ничего нельзя было разглядеть.

Вой сирены прервал ее размышления. Пока диктор объявлял воздушную тревогу, Анна Евдокимовна успела потушить лампу и плеснуть воду в печурку. Сунув ноги в валенки,

она надела пальто и, повязав голову большим шерстяным платком, выбежала из квартиры.

Она слышала, как по всем этажам захлопали двери. Синяя лампочка на лестнице с трудом освещала людей, спешивших вниз, в убежище. Анна Евдокимовна, держась стены, стала подниматься по лестнице вверх. Сегодня она была дежурной на крыше.

Сухо и холодно. Большие зимние звезды. Белые с желтизной лучи прожекторов сузили небо и словно определили небесный материк. Луна неподвижна, и крыши домов залиты плотным голубым светом. И удивительно тихо.

— Дежурная на крыше!

— Слушаю.

— Будете сегодня дежурить одна.

— Хорошо.

И снова тишина.

Вдали заблестели невидимые раньше звезды. Заблестели и — сразу же погасли. И вновь заблестели. Звездный снап, то исчезая, то вновь возникая, приближался. И вместе с его приближением Анна Евдокимовна слышала нарастающий шум, идущий перекатом по небу.

Вдруг сильный выстрел откуда-то совсем близко от нее. Такой же выстрел, только справа. Сквозь сухой треск отовсюду забивших зениток Анна Евдокимовна услышала сверлящий, однообразный звук авиационных моторов.

Где-то вдалеке, на окраине неба, два луча прожекторов скрестились, и в их бледножелтом свете небольшая черная точка быстро поплыла к земле, увлекаемая невидимой силой. Вагронные отсветы легли на небо.

Над собой Анна Евдокимовна слышала все тот же настойчивый звук авиационных моторов.

„Меня можно сделать бессменной дежурной,— думала Анна Евдокимовна. — Это будет справедливо. Я единственная в доме «одинокая». — Она стала перебирать в памяти жильцов дома.— У этой сын в армии, у другой — муж, у третьей — маленькие дети, четвертая, .. но она работает на заводе“. — Анна Евдокимовна нигде не работает. . .

Вдруг она услышала тяжелый шелест и свист летящей бомбы. Анна Евдокимовна прижалась к трубе, обхватила ее руками — и так замерла.

Дом вздрогнул, как от тока предельного напряжения. И вслед за толчком — страшный грохот обвала.

С минуты еще Анна Евдокимовна стояла не двигаясь, все так же прижавшись к трубе, как будто этим движением хотела удержать исчезающую жизнь. Наконец она обернулась.

В квартале от нее громадный столб черного дыма вырывался изнутри пятиэтажного дома. Минуту спустя из здания брызнуло пламя и, одолев черный дымовой настил, в яростном порыве охватило все этажи.

Снова шелест и свист над головой. Десятки зажигательных бомб летели в пожарище, словно не доверяя ему, словно напоминая: „гори!“

— Дежурная на крыше!

— Я.

— Зажигалки есть?

— У нас нет.

Бомба миновала ее дом. Невдалеке от нее горит здание. „Что это за здание? — припоминала Анна Евдокимовна. — Может быть, это школа? Нет, это не школа. Но, может быть, это все-таки школа? Да, может быть. Наверное это школа.



Когда прозвучал сигнал отбоя, Анна Евдокимовна, с трудом передвигая окоченевшие ноги спустилась по лестнице.

— Что горит? — спросила она у женщины, сидевшей возле ворот.

— Не знаю. Где-то недалеко.

Гучное багровое пламя низко стояло в небе. Анна Евдокимовна пошла по направлению к школе. Чем ближе, тем ярче становился красный цвет неба. Слышались гудки пожарных машин и скорой помощи, сигнальные колокола, крики людей. Анна Евдокимовна уже не шла, а бежала. Наконец она достигла улицы, на которую выходил школьный сад.

Выбежав из-за угла, она остановилась, пораженная страшной картиной разрушения. Здание было рассечено и словно распянуто на две половины. Огонь в неистовом рвении уничтожал все, что еще не было уничтожено. Железные лестницы, обхватившие здание, были раскалены, и даже тяжелые струи воды, направленные в огонь, казались окровавленными от отблесков пламени.

Еще продолжали спасать раненых. Обгорелых людей выносили из здания и погружали в автобус. Анна Евдокимовна рванулась вперед.

— Нельзя, гражданка, нельзя. . . Видите, что делается, — остановил ее какой-то старик в кепке и с винтовкой за плечами.

— Товарищ! Я. . .

— Знаю, что помогать, да только не можете, — еще больше помешаете. Приказано не допускать. Сын, что ли, был в этом госпитале? — спросил он, увидев выражение ее лица.

Анна Евдокимовна ничего не ответила.

— Не все погибли, — сказал старик с винтовой. — Спасли многих. Еще спасут. — Анна Евдокимовна видела, как по его лицу текли медленные, стариковские слезы.

Еще с минуту она стояла в нерешительности, затем повернулась. . .

Анна Евдокимовна шла домой. Вдруг обессилев, она шла долго и, когда пришла, не раздеваясь легла в постель и, едва натянув на себя одеяло, заснула.

Утром, проснувшись, она почувствовала болезненную ломоту во всем теле. С трудом поднялась.

В комнате было холодней, чем всегда. Подойдя к окну, Анна Евдокимовна увидела чистый, ровный снег на дворе. Напротив во флигеле фанера на окнах покрылась изморозью.

„Зима“, — подумала Анна Евдокимовна.

Одевшись, села в кресло. Надо растопить печурку, согреть чай, сходить за хлебом, в столовую. Лучше пораньше: очереди большие.

Все эти дела казались сейчас Анне Евдокимовне невыносимо тяжкими. Печуркой она решила заняться по приходе домой. Встала, надела пальто, но тут же снова села в кресло. Лучше потом постоять лишний час в очереди, только бы не двигаться сейчас. Она протянула руку к полке с книгами, но какое-то неясное чувство остановило ее, какая-то неприязнь к чужому миру образов.

Вытянув ноги, она сидела в кресле, думая только о том, что ей надо будет встать, пойти в булочную и столовую, обязательно надо. . . Так она просидела долго, и, когда, наконец, взглянула на часы, оказалось, что часы остановились. Анна Евдокимовна заторопилась.

На улице мороз. Свежо и по-зимнему тихо. Анна Евдокимовна купила хлеба и, узнав верное время, завела часы. Дошла до столовой. У дверей стояла длинная нестройная очередь.

„Нет, нет,— подумала Анна Евдокимовна,— не могу...“

Она повернула обратно и, придя домой, сразу же села в кресло. Съела хлеб и подумала, что теперь уже никуда не надо торопиться. Хорошо, что не надо. Сидя в кресле, Анна Евдокимовна то дремала, то, просыпаясь, проверяла, — идут ли часы.

Был уже вечер, когда в комнату постучали. Очнувшись от сна, Анна Евдокимовна проверила часы, затем, когда стук повторился, насторожилась.

— Кто там?

— Анна Евдокимовна, откройте, свои...

— Подождите минуту, я лампу зажгу.

Она зажгла лампу. Вошел мужчина лет около сорока; почистив валенки у дверей, подошел к Анне Евдокимовне.

— Здравствуйте, Анна Евдокимовна! Не узнаете?

— Вы... товарищ Алапин?

— Ну вот и нет... Алапин — это отец Миши Алапина, а я Роцин — отец Димы Роцина.

— Да я так и хотела сказать... Забыла фамилию.

Оба сели. Роцин молчал, искоса поглядывая на Анну Евдокимовну.

— Что Дима? — спросила Анна Евдокимовна.

Роцин нахмурился.

— Бегаёт, — сказал он неопределенно. Он

встал, прошелся по комнате. — Ей-богу, я не знаю, что делать! Я, например, работаю. Жена тоже работает. Димке-то уже тринадцатый пошел. Вы же сами говорили, что он способный...

— Способный, — тихо отозвалась Анна Евдокимовна.

— Он потушил пятнадцать зажигательных бомб. Это, конечно, хорошо. Но все-таки надо подумать, что с ним делать. Оставим Диму. Миша Алапин... Конечно, это не мое дело, но он тоже... — Роцин оборвал фразу, потом, видимо решившись, сказал: — Анна Евдокимовна, давайте наладим учебу!

— Что? — Анна Евдокимовна резко поднялась с кресла, шагнула к Роцину. Он видел ее напряженный взгляд, руки, стиснутые в кулаки.

— Сядем, — сказал Роцин. — Ну, вот. Андрей Николаевич болен. Я был у него сегодня. Говорил с ним. Советовался я и с родителями. Ну, то есть с Алапиным, с Ильей Александровичем и с Носовым. Решили обратиться к вам, просить вас...

— Я видела, как горела школа... — сказала Анна Евдокимовна, опустив голову.

Роцин слегка дотронулся до ее руки.

— Вы знаете, что Андрей Николаевич предлагает? На дому заниматься, по квартирам. Для школы нужны топливо, освещение, обслуживающий персонал. Ну, в общем так: в доме, где я живу, живут еще девять ваших учеников. Дрова у меня есть. В назначенный час, будьте добры, мы начинаем учебу.

Анна Евдокимовна удивленно взглянула на Роцина.

— Но ведь я преподаю только географию, — сказала она.

— А почему только географию? — спросил Роцин.

Анна Евдокимовна не успела ответить. Завыла сирена.

— Я сегодня дежурю в убежище. Идемте!

Они спустились в убежище, и, когда все разместились и стало тихо, Анна Евдокимовна подошла к Роцину.

— Я никогда в жизни не преподавала ни математики, ни литературы.

— Ну, какая там математика! — сказал Роцин. —  $A + B$  в квадрате и так далее. И вообще надо диктовки давать, учить писать без ошибок. Ну, какое-нибудь стихотворение: „В песчаных стенах Аравийской земли...“ Правильно?

— Совсем близко бомбит! — вскрикнула женщина, сидевшая в углу.

Кто-то остановил ее:

— Тихе, дайте послушать!

— Надо подготовиться, — сказала Анна Евдокимовна. — Посмотреть программы.

— Ну, ясно, ясно, — подхватил Роцин. — Вам и карты в руки!

Где-то рядом или над ними разорвалась бомба.

— Погибаем! — закричала женщина в углу.

— Тихо!

— Погибаем!

— Тихо, я говорю!

Анна Евдокимовна выбежала из убежища и сейчас же вернулась.

— Не волнуйтесь, товарищи! Дом наш цел.

— А что, — спросил Роцин, — долго вам надо готовиться?

— Сутки.

— Хорошо.

— Опять летят! — сказала женщина в углу.

— Да это наши, оставьте, пожалуйста.

— В десять часов утра будем начинать, — сказал Роцин. — Если бомбежка, так у нас убежище не хуже вашего. Вы не беспокойтесь, никакой воани с ребятами не будет. Уж они-то насчет бомбежки спецы. Уж чего-чего, а насчет бомбежки они спецы.

Анна Евдокимовна рассталась с Роциным после отбоя. Лунный свет плотно лежал на крышах. Громадная синяя тень дома покрывала заснеженный двор. Анна Евдокимовна быстро поднялась к себе. Она так торопилась поскорей зажечь лампу, что уронила на пол стекло. Что ж теперь делать?

„Ничего, — подумала Анна Евдокимовна. — Стекло бьется к счастью“.

Она подняла штору. В лунном свете разглядела комнату. Достала с нижней полки несколько книг и положила их на подоконник. Затем, опустившись на колени, склонилась над книгами и стала их перелистывать. Это были учебники, сохранившиеся у нее еще с детских лет. Грамматика, арифметика, история.

## II

Через день, ровно в десять часов утра, Анна Евдокимовна пришла к Роцину.

Дима открыл ей дверь, и Анне Евдокимовне стоило большого усилия ничем не выдать своего волнения.

— Как ты вырос. . . — сказала она Диме. Мальчик провел ее в комнату.

— Здравствуйте, Анна Евдокимовна! Здравствуйте, Анна Евдокимовна! Здравствуйте, Анна Евдокимовна!

— Здравствуйте, ребята,— сказала Анна Евдокимовна и затем поздоровалась с каждым учеником в отдельности.

В комнате было чуть дымно от только что истопленной печурки. На стене — большая карта Советского Союза. На буфете — грифельная доска. Дети сидели за круглым обеденным столом.

— Ну-с,— сказала Анна Евдокимовна,— первый урок — география.— На столе зашелетели тетради.— Повторим пройденное,— продолжала Анна Евдокимовна, чувствуя, как обретает желанное спокойствие.— Дима! — вызвала она ученика.— Расскажи, что ты знаешь об Украине.

Дима взял со стола указку и, подойдя к карте, обвел границы Украины.

— Правильно,— заметила Анна Евдокимовна.

— Украинская Советская Социалистическая Республика граничит с запада. . . — начал Дима, но вдруг осекся. Через минуту, не глядя на учительницу и на товарищей, сказал: — Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года немцы как разбойники напали на нас и вторглись в Украину. Немцы. . .

Он заторопился, словно боясь, что не успеет рассказать все, что знает. Маленький Роцин называл города и переправы, за которые шли долгие и упорные бои. В этих боях немцы теряли свои полки и дивизии.

Дети перебивали Диму, напоминали ему обо всем, что читали, и о том, что им расска-

зывали взрослые. Анна Евдокимовна сама приняла участие в этом бурном разговоре у карты, продолжавшемся (сейчас только она проверила время) два с лишним часа.

— Перемена, — сказала Анна Евдокимовна.

— Не надо перемен, — предложил флегматичный Миша Алапин. — Сейчас спокойно, а начнут бомбить, — сделаем перемену.

— Хорошо, — согласилась Анна Евдокимовна. — Тогда займемся арифметикой.

После арифметики и диктовки Анна Евдокимовна закрыла тетрадку, на которой рукой Рощина-старшего было написано „Классный журнал“, и сказала:

— На сегодня уроки кончены.

Дети сразу же повскакали с мест и обступили Анну Евдокимовну. Им хотелось поговорить со своей старой учительницей, но они не знали, с чего начать разговор. Они видели, что Анна Евдокимовна изменилась за эти полгода. „Строже стала“, определила во время уроков Лиза Лебедева. „Не строже, а просто ей туго пришлось“, буркнул в ответ Витя Мелентьев, самый маленький мальчик, которого ребята звали „Подрасти немножко“.

Витя первый прервал молчание.

— Ваш дом цел? — спросил он без обиняков.

— Цел, — отвечала Анна Евдокимовна.

— У нас бомбы в соседний попали, — продолжал Витя оживленно. — Четыре по двести пятьдесят. Он ка-ак первую бросил!..

— Но ты спал тогда, — спокойно заметил Миша Алапин.

— А вот и не спал!..

— Спал. Ты и тощую проспишь.

— Анна Евдокимовна! Не верьте ему. Он врет!



— Нет, Миша не врет, — сказал Дима. — Ты спишь как сурок, „Подрасти немножко“.

— Это ничего, — рассудительно вмешалась Лиза Лебедева. — Зато он не трус.

— У нас в доме нет трусов, — громко сказал Дима и посмотрел на Анну Евдокимовну: какое впечатление на нее произведут эти слова.

— У меня тетя трусит, — сказала Надя Волкова, стройная девочка с бледным курносеньким личиком. — Боится, что умрет.

Анна Евдокимовна вспомнила, что мать Нади умерла за год до войны и тогда к Волковым переехала сестра отца — старая, ворчливая женщина.

— А папа пишет? — спросила она девочку. Надя покачала головой.

— Редко. Он на „пяточке“.

Дети с уважением смотрели на Надю. Ее отец воевал на „пяточке“! Так назывался небольшой клочок земли, занятый нашими войсками на левом берегу Невы и с трех сторон обстреливаемый немцами.

Возвращаясь домой, Анна Евдокимовна думала о том, что каждый из ее учеников остался таким же, каким был раньше: Дима — способным и исполнительным, Миша — невозмутимым, Витя — упорным, Надя — приветливой, Лиза — рассудительной, но все они стали жить жизнью взрослых людей, их прежние, особенные, детские интересы оборваны и раздавлены войной, участниками которой они стали невольно.

Придя домой, Анна Евдокимовна быстро справилась с хозяйственными делами и, придвинув к креслу маленький столик, занялась подготовкой к завтрашним урокам.

Анне Евдокимовне пришлось работать до поздней ночи. От времени до времени она чувствовала непривычную слабость: кружилась голова, ноги становились свинцовыми, строчки дрожали на страницах и вдруг, обратившись в черные змейки, исчезали. В такие минуты Анна Евдокимовна отрывалась от книги и, закрыв глаза, отдыхала пять, десять минут.

Она укоряла себя за то, что не сберегла с обеда немного еды. Было бы легче работать.

И заснуть мешала та же гнетущая слабость.

„Надо правильно распределять еду, — думала Анна Евдокимовна. — Надо следить за этим“.

Утром, перед тем как идти к Рошину, она зашла в булочную и, получив хлеб, спрятала небольшой кусочек в портфель. В обед она съела только второе, а суп вылила в судочек и унесла домой.

Прошло две недели, и она ни разу не нарушила установленных ею „правил еды“. Но приступы слабости не прекращались. Несмотря на строго соблюдаемый режим, они становились все более продолжительными. Дома она часами просиживала в каком-то мучительном забытьи. Ночь проходила в смутных снах, в томительном ожидании рассвета.

Иной раз Анна Евдокимовна приходила к Рошину задолго до того, как собирались дети. Она стремилась к своей удивительной школе как к спасительному оазису, но знала, что каждый новый глоток жизни потребует от нее новых, быть может последних усилий.

Дети не опаздывали, приходили ровно к десяти, садились за круглый обеденный стол, и тогда самому пытливому взгляду не могло

быть доступно усилие воли, которое Анна Евдокимовна совершала, прежде чем начать урок.

Ученики ее изменились за это время. Они притихли, лица потемнели, глаза запали. Но они никогда не жаловались своей учительнице.

Рощина Анна Евдокимовна видела редко. На работу он уходил вместе с женой рано утром, возвращались они тоже вместе, уже после того, как уроки были кончены. Но всякий раз, когда Анна Евдокимовна встречалась с Рощиным, он живо интересовался ее занятиями с детьми. Слушая Анну Евдокимовну, он по своей привычке искося поглядывал на нее, словно оценивая каждое ее слово.

— Блокада — это кольцо, — говорил Рощина, чуть дотрагиваясь до руки Анны Евдокимовны. — Во-первых, его надо рвать. Во-вторых, внутри нельзя рассредоточиваться. Иначе кольцо сожмется.

Анна Евдокимовна слушала молча, соглашаясь с Рощиным. Не хотелось уходить отсюда. Мучительны были переходы от бесстрашной и трезвой работы к темному быту.

Морозы стояли свирепые, бесснежные. Веселый и щедрый до войны поток машин, троллейбусов и трамваев застыл, словно околдованный лютой зимой. Вагоны вмерзли в землю. Лед крепко схватил их и держал в плену. Улица была словно перекошена холодом. Анне Евдокимовне казалось, что слова Рощина, ставшие для нее драгоценными, гложут на ледяном сквозняке.

Четырнадцать обледенелых ступенек, мохнатая от нависшего снега дверь, с трудом

поворачивается ключ в заржавленном замке. Надо сосредоточиться на том, чтобы на самом ничтожном огне согреть суп.

Однажды Роцин сказал ей:

— Вы бы навестили Андрея Николаевича. Он совсем плох. Понимаете, у него и раньше был туберкулез, ну, а теперь...— Роцин не закончил фразы и сунул Анне Евдокимовне листок с адресом больницы.

В этот же вечер Анна Евдокимовна пошла в больницу к Андрею Николаевичу. В проходной старая женщина в дворницком тулупе выписала ей пропуск и сказала номер палаты. Все же Анна Евдокимовна долго блуждала по длинным больничным коридорам, слабо освещенным „летучими мышами“.

Дежурная сестра, положив голову на руки, спала за своим столиком. Анна Евдокимовна разбудила ее.

— Кто? — переспросила сестра фамилию. — Да, да, жив. Вот сюда. — И Анна Евдокимовна вошла в указанную палату.

Среди неподвижно лежавших людей она не могла найти Андрея Николаевича, но в это время к ней подошел мужчина в очках.

— Вы к Андрею Николаевичу?

— Да.

— Идемте.

Андрей Николаевич лежал в глубине палаты. Когда Анна Евдокимовна подошла к нему, он не шевельнулся. Анна Евдокимовна села на стул. На другой стул сел ее спутник. Тишина в палате ничем не нарушалась. Наконец мужчина в очках сказал:

— Вас зовут Анна Евдокимовна?

— Да...

— Я о вас слышал. Обязательно приду к вам. Моя фамилия Левшин. Я замечаю Андрея Николаевича. Но... — он внимательно поправил одеяло больного...

Молча Анна Евдокимовна просидела у койки еще с полчаса, затем в коридоре разбудила дежурную сестру, отметила пропуск и вышла на улицу.

Мороз нарастал. Казалось, что он ледяным поясом туго перетянул улицы и дома. Совершенно белая луна вышла из-за облака и замерла над больничным зданием.

Анна Евдокимовна запомнила лицо Андрея Николаевича, поразившее ее своей неподвижностью. И по пути домой и уже в своей комнате Анна Евдокимовна мысленно видела это лицо с сухой кожей, складками собранной у глаз и рта.

Левшин отрицательно покачал головой в ответ на ее немой вопрос. Конечно, Андрей Николаевич умрет. У него туберкулез. Ему не выжить. Анна Евдокимовна чувствовала ужас перед этим безвольным угасанием, свидетелем которого только что явилась. Неужели и ей угрожает та же судьба?

Анна Евдокимовна отогнала от себя эту мысль. У Андрея Николаевича туберкулез. Третья стадия. Она здорова... И все же небольшое отделяет ее от больничной койки...

Но утром она пойдет к Роцину и будет учить детей. Разве этого недостаточно, чтобы противостоять концу, начертанному ее испуганным воображением?

В десять утра она придет к Роцину, увидит учеников и забудет бессонную ночь. Но

верно и то, что, уйдя завтра от Рощина, она снова вернется к сознанию своей обреченности. И сможет ли она долго скрывать от детей эту как бы двойную жизнь? Скоро ее тайна будет обнаружена, напряжение воли станет физически невозможным, и она на глазах учеников подчинится позорному своему бессилию.

На следующий день после уроков Анна Евдокимовна дождалась Рощина. Он не успел скинуть полушубок, как Анна Евдокимовна подошла и коротко сказала:

— Больше я на занятия не приду.

Рощин испугался.

— Что с вами, Анна Евдокимовна?

Но она, ничего не ответив, открыла дверь на лестницу. Рощин схватил ее за руку.

— Обязательно надо притти! Разве вы не видите, что с детьми делается? Они и так как воск... Как воск!

— Больше я не приду,— повторила Анна Евдокимовна и вышла на лестницу. Спустившись вниз, она слышала, как Рощин что-то кричал, но не могла разобрать его слов.

Она уже перешла рубеж, после которого павена кажется единственным выходом. Отказавшись от занятий с детьми, почувствовала облегчение. Больше в ее жизни не будет никаких усилий. Но как же тогда пойдет ее жизнь? Об этом Анна Евдокимовна еще не думала.

Она не торопясь шла домой, рассеянно глядя по сторонам. \* Возле булочной, вытянув вперед руки, громко рыдала девочка лет двенадцати.

Анна Евдокимовна вошла в булочную, сказала: „На сегодня и на завтра“.

Получив хлеб, она задержалась в булочной, чтобы согреться. Вокруг девочки уже собралось

несколько человек. Девочку привели в булочную. Ее спрашивали:

— Чего ты плачешь?

Но она, не в силах ответить, захлебывалась слезами, и ничего нельзя было разобрать.

— Карточки потеряла?

Девочка зарыдала еще громче.

— Так и есть, — сказал какой-то чернобородый мужчина, — потеряла карточки, — и, пожав плечами, отошел.

— А где твои родители? — спрашивали девочку.

— Мамы нет, — сказала она, — еще до войны нет. Папа на фронте. Я живу с тетей, но она ушла позавчера и больше не приходила.

Анна Евдокимовна обернулась. Голос девочки показался ей знакомым. Она подошла ближе.

— Надя... — сказала Анна Евдокимовна, только сейчас узнав свою ученицу.

Девочка сразу же перестала плакать.

— Это я... — сказала она виновато.

— Надо написать заявление в бюро заборных книжек, что-нибудь да сделают, — сказала одна из женщин, порылась в карманах и, найдя бумагу и карандаш, подошла к прилавку и стала быстро писать.

— Как тебя зовут?

— Надежда Михайловна Волкова, — отвечала Надя, не сводя глаз с Анны Евдокимовны.

— Так. Заявление я написала. Надо было бы сходить с тобой, да времени нет, — опаздываю на работу. Граждане, кто может свести девочку в бюро заборных книжек? Это же рядом...

— Я могу, — сказала Анна Евдокимовна.

В бюро заборных книжек ничего определенного не обещали. Сказали, что потерянных карточек не возобновляют, но что заявление рассмотрят к завтрашнему дню.

— А сегодня ты ела что-нибудь? — спросила заведующая бюро.

Девочка покачала головой.

— Я тебе дам талон на суп. — сказала заведующая. Это ваша родственница? — спросила она Анну Евдокимовну.

— Нет.

— Ну, все равно. Возьмите ей суп в столовой, где вы обедаете. А чего ты руки держишь? Замерзали? — Она быстро сняла варежки с Надиных рук. — Ну-ка, пошевели пальцами! Так. Теперь спрячь руки в карманы. Уж на суп-то я тебе дам талончик.

В столовой Анна Евдокимовна вынула из портфеля хлеб и разделила его пополам.

— Так ведь это же вам на сегодня и на завтра? — спросила Надя. — Ну, ничего. Мне, наверное, завтра выдадут карточку, я тогда возьму на завтра и послезавтра.

И она принялась за суп, отщипывая от хлеба маленькие кусочки.

— Теперь я вас до дому провожу, — сказала после обеда Надя и осторожно взяла Анну Евдокимовну под руку, словно боясь, что та может поскользнуться и упасть.

„Два дня девочка живет совершенно одна, а я об этом ничего не знаю“, — думала Анна Евдокимовна. — Почему ты мне не сказала, что тетя от тебя ушла? — спросила она Надю.

— Совестно было об этом на уроках говорить, — тихо сказала Надя. — Ну, вот, мы и



дошли. Спасибо вам, Анна Евдокимовна! До свидания, Анна Евдокимовна!

Но Анна Евдокимовна осталась стоять на улице. Какое-то неизъяснимое чувство притягивало ее к удалявшейся Надиной фигурке. Как будто тоненький ее след еще связывал Анну Евдокимовну с миром, покинутым сегодня. Вот еще немного — и Надя скроется за поворотом.

— Надя! — вдруг крикнула она. — Надя! — крикнула она громче, боясь, что девочка не услышит.

Надя обернулась, подбежала к ней.

— Вам дурно, да? Я вас по лестнице провожу...

— Глупости, — сказала Анна Евдокимовна строго. — Если хочешь, можешь зайти ко мне.

— Очень хочу, — сказала Надя. — А я думала, что вы не хотите.

Дома Анна Евдокимовна прилегла на постель.

— Дров у вас, конечно, нет? — спросила Надя.

— Есть еще немного...

Анна Евдокимовна заснула мгновенно. Когда она проснулась, топила печурка. Надя сидела на маленьком табурете и рассматривала открытки в альбоме. Анна Евдокимовна видела, как она тихонько встает, на цыпочках подходит к шкафу, кладет альбом на прежнее место и, взяв новый, так же на цыпочках возвращается к своему месту у печурки.

— Надя!.. — окликнула ее Анна Евдокимовна.

— А вы спали, — сказала девочка. — Целый час спали. У вас книг как много! Хотите, я

вам что-нибудь велух прочитаю?— Она взяла с полки запыленный томик в старинном, с застежками, переплете и, закрыв выюшку, села поближе к Анне Евдокимовне. — Ой, да у вас тут закладка! Вы не дочитали до конца?

„Вот в толпе, которая вереницей пронесится в моем воспоминании, один образ, спокойный и тихий. Он в своей невинной любви и детской прелести говорит: остановись, вспомни обо мне. Я исполню это“, — читала Надя, и Анна Евдокимовна не прерывала ее, хотя наизусть знала эти любимые строки.

Книга жила заново. Писатель был третьим в комнате, желанным и необходимым.

— Ну, довольно, — сказала, наконец, Анна Евдокимовна. — Надо ложиться спать. Постели себе на диване.

Но когда Надя погасила копилку, Анна Евдокимовна долго еще лежала с открытыми глазами.

— Анна Евдокимовна, — услышала она тихий шопот. — Анна Евдокимовна, вы уже спите?

— Что тебе, Надя?

— Анна Евдокимовна, можно мне к вам?

— Ну, иди. . . — Она слышала, как встала девочка и, подбежав к ее постели, быстро нырнула под одеяло. Надя всем телом прижалась к Анне Евдокимовне и, обняв за шею, сказала:

— У меня есть сухарик. Я его давно припрятала. Сейчас съедим, да? — Она быстро сунула Анне Евдокимовне в рот половину сухарика.

— Вкусно, да? — спросила Надя. — Ну, теперь будем спать.

Встала Надя рано и невольно разбудила Анну Евдокимовну.

— Я за карточками, узнать, — говорила она, — а потом я домой зайду. В школе мы увидимся, и в перемену я все расскажу.

— Хорошо, — сказала Анна Евдокимовна твердо. „Надо обо всем поговорить с Рошиным“, — подумала она, когда Надя ушла.

Анна Евдокимовна искала слова, которые могли бы объяснить Рошину пережитое, не находила их и боялась встречи. Она нарочно вышла из дому позднее обычного.

Еще издали Анна Евдокимовна увидела Рошина. Он стоял у ворот своего дома, размашисто хлопая руками о грудь, чтобы согреться. Заметив Анну Евдокимовну, он быстро пошел ей навстречу.

— Так я и знал, что придете, — сказал Рошин вместо приветствия и, взглянув на часы, прибавил: — Извините, спешу. — Анна Евдокимовна с благодарностью посмотрела на него.

Она уже начала урок, когда Надя вбежала в класс. По веселым глазам девочки Анна Евдокимовна поняла, что с карточками все обстоит благополучно. Но Надя, сев поодаль, знаками показывала учительнице, что карточки ей выдали, и, наконец, не выдержав, вытащила карточки и разложила их у себя на коленях.

В перемену Анна Евдокимовна подозвала Надю.

— Что у тебя дома? Вернулась тетя? Лицо девочки сразу же стало виноватым.

— Нет, не вернулась.

— Как же ты теперь жить будешь?

— Не знаю, — сказала Надя, испуганно глядя на Анну Евдокимовну.

— Возьми свои веши и на саночках перевези ко мне. Слышишь?

— Слышу, — отвечала Надя тихо. Потом вдруг бросилась Анна Евдокимовне на шею и поцеловала.

— Куриные нежности! — заметил Миша Алапин.

Сразу же после занятий Надя со всем своим незатейливым имуществом перебралась к Анне Евдокимовне. Она даже захватила ветхий-кухонный столик.

— Для растопки, — объяснила девочка.

Вечером, разламывая стол, Надя сочинила целую историю о корабле, потерпевшем крушение, и о том, что они теперь ловят в бурном океане то немногое, что осталось от гордого корабля.

Вскоре оказалось, что они вовсе не спасшиеся души, а отважные полярники. Надя называла кровать и диван нарами, одеяла — спальными мешками. Она ходила по комнате со щепкой в руках, нахмурившись смотрела на нее и поминутно сообщала:

— Пятьдесят пять ниже нуля, шестьдесят ниже нуля. Анна Евдокимовна, сейчас льдина треснет!

Но утром, когда Анна Евдокимовна собралась уходить, Надя еще лежала. Анна Евдокимовна подошла к ней.

— Что с тобой, Надя? Неадорвится?

— Нет, ничего... Сейчас я встану. Спала, а не отдохнула, — призналась девочка.

Анне Евдокимовне хорошо было известно это состояние утренней беспомощности. Лицо Нади казалось совсем прозрачным. „Как воск“, — вспомнила Анна Евдокимовна слова Роциня.

— Сегодня ты в школу не пойдешь, — сказала она девочке.

— Ой, что вы, Анна Евдокимовна! — Надя приподнялась. — Нельзя. Идите, идите, я вас догоню.

„Они и так как воск... как воск“, — вспоминала Анна Евдокимовна слова Рощина. Она и раньше думала об этих словах, но только сегодня, когда Надя так настойчиво потянулась к школе, Анна Евдокимовна до конца поняла их внутренний смысл.

„Рощин не только заботится об учебе, он убежден, что ежедневные занятия поддерживают самую жизнь детей, — думала Анна Евдокимовна. — Как же так? Ведь занятия не могут дать детям лишних калорий. Скорее наоборот. Занятия требуют от детей дополнительных усилий“. Но Рощин не спец по калориям. Калории, верно, путанное дело. Пройдут годы, и ее ученики — врачи и педагоги, военные и историки — напишут правдивую книгу об этих днях и объяснят все, чего не смог объяснить Рощин. Но они подтвердят: в те дни по неписанным законам жизни Анна Евдокимовна была им необходима.

После уроков Надя, подойдя к Анне Евдокимовне, тихонько сказала:

— Я сейчас в столовую побегу, а вы спокойно идите домой. Я все принесу. — И, не дождавшись ответа, быстро исчезла из комнаты.

Когда Анна Евдокимовна пришла домой, девочка еще не вернулась. Анна Евдокимовна ждала ее тревожась. Не случилось ли что-нибудь? Тревожное это чувство было новым для нее, еще не изведанным в жизни.

Она и раньше беспокоилась, если кто-нибудь из учеников не являлся или опаздывал на занятия. Но это щемящее душу беспокойство возникло только теперь, когда она почувствовала нераздельность своей и Надиной судьбы.

— Вы меня, наверное, ругаете за то, что я так поздно? — услышала она голос Нади.

Анна Евдокимовна обняла девочку. Ей было весело слушать пустяковые новости, которые рассказывала Надя, и, когда они принялись за обед, Анне Евдокимовне было приятно следить за тем, как Надя, высоко поднимая ложку, не спеша ест суп.

Быть может, давно заглухшее чувство дало живые ростки, и запоздалое материнство произошло, чтобы согреть и осветить зимнюю ночь?

Анне Евдокимовне казалось, что никогда еще в Ленинграде не было таких длинных полярных ночей. Как будто немецкое кольцо вокруг города сжало и без того короткий январский день.

Анна Евдокимовна и Надя вставали утром в полной темноте и домой возвращались в сумерки.

Анна Евдокимовна видела, как оживают дети в теплом и светлом „классе“ — на квартире Рощина.

Левшин, который теперь часто приходил на уроки, всегда оставался довольным.

— Хорошо у вас, — искренно говорил Левшин Анне Евдокимовне. — Но смотрите, придет весна, наладим школьное хозяйство и высадим вас отсюда. — По его утомленному лицу видно было, как сложно все то, о чем он говорил смеясь.

„Да, да, скорее бы весна, — думала Анна Евдокимовна. — Когда светло и тепло, все не так страшно“.

— Раньше станет легче, — говорил Роцин. — Я вам факт говорю. Дорога через Ладогу действует? Действует. Бросим людей, выведем хозяйство из прорыва. Я хочу сказать: надо освободить паровозы ото льда, понимаете?

— Понимаю, — отвечала Анна Евдокимовна, думая, что, собственно говоря, надо им выдержать до воскресенья. В воскресенье занятий в школе не будет и они с Надей отдохнут.

В субботу, возвращаясь домой, она сказала Наде, что „сегодня ложимся рано, а завтра спим до какого угодно часа“. Завтра она сама пойдет в столовую, а Наде надо будет только сходить за хлебом.

Закончив домашние дела, они, как условились, легли рано.

— Анна Евдокимовна, а как мы с вами будем жить после войны? — спросила Надя.

— После войны? Хорошо будем жить, — не задумываясь отвечала Анна Евдокимовна.

— Хорошо... Папа вернется... А вы будете... самая главная учительница.

— Ну-ну... — сказала Анна Евдокимовна, которой никогда не приходили в голову такие тщеславные мысли.

— Над всеми школами Ленинграда!

— Да нет же, Надя! Буду преподавать географию. Только не у товарища Роцина, а в школе.

— А я что буду делать? — не успокаивалась Надя.

— Учиться будешь.

— А потом?

— Потом выберешь специальность.

— Какую?

— Какую захочешь.

— Нет, а все-таки?

— Ну, не знаю. . .

— А я знаю.

— Какую же?

— Я буду учительницей, как вы.

Надя не надолго затихла.

— Анна Евдокимовна!

— Спи, Надя. . .

— Нет, вы мне скажите, почему меня все зовут вашей дочкой, а вы меня так никогда не зовете, и я вас мамой не зову?

Анна Евдокимовна почувствовала, как сильно забилося ее сердце. Она молчала, стараясь продлить эти счастливые минуты.

— Вы мне мама, — сказала девочка. — Сплю, сплю, — поспешно добавила она.

### III

На следующий день они встали поздно, и Анна Евдокимовна, поручив Наде купить хлеб, одна пошла в столовую.

День был не снежный. Показалось высокое зимнее солнце и вдруг сильным радужным светом окрасило застывшую землю. Словно кто-то там, в самом солнце, ударил по струнам веселого инструмента, а здесь, на земле, отозвалось и зазвучало. Мороз, бахвалясь своей злой и независимой от солнца властью, крепчал, но под щедрыми солнечными лучами эта власть казалась мнимой.

Анна Евдокимовна задержалась в столовой: начался артиллерийский обстрел, и никого не



выпускали из помещения. Когда она вышла на улицу, солнца уже не было, мглистые тени лежали на снегу, и в сумерках здания казались окоченевшими от холода.

Подойдя к своему дому, Анна Евдокимовна увидела несколько человек, образовавших тесный круг и как будто что-то рассматривающих. Анна Евдокимовна подошла, чтобы узнать, что случилось. Один из круга отошел, и Анна Евдокимовна увидела, что на снегу, у стены, лежит Надя. Она так испугалась, что выронила из рук судочек. Растолкала людей.

— Надя!

Надя не отвечала. Анна Евдокимовна, быстро опустилась перед ней на колени.

— Надя!

Надя не отвечала. Надо потереть снегом виски. Анна Евдокимовна скинула варежки, взяла комок снега, и тут она увидела кровь. Тоненький ручеек, уже впитавшийся в снег. Почему кровь? Откуда? Анна Евдокимовна обхватила Надю за плечи, приподняла. На левом ее виске Анна Евдокимовна увидела кровь. Кровь шла из небольшой, но глубокой ранки и сразу же густела и застывала на морозе.

— Надя!

Надя не отвечала. Анна Евдокимовна привлекла ее к себе, пристально рассматривая маленькую, но очень глубокую ранку.

— Убили, — сказал кто-то из стоявших вокруг. — Снаряд вон куда попал. А ее осколком...

Анна Евдокимовна резко обернулась.

— Нет, нет! — сказала она, со злобой глядя на сказавшего.

Анна Евдокимовна взяла Надю на руки, с силой приподняла, встала. Ей было очень тяжело. Не глядя на людей, она понесла Надю домой. Она слышала, как на улице кто-то сказал:

— Детей убивают... Проды проклятые!..

С трудом открыв дверь, Анна Евдокимовна внесла Надю в комнату, положила ее на диван, сняла с нее пальто (хлеб из кармана выпал), сняла с головы вязаную шапочку. В последний раз она сказала:

— Надя!

Приложила голову к ее груди. Не услышала биения сердца. Схватила зеркальце и поднесла к Надиным губам. Прошла минута, другая, третья. Она все еще стояла не двигаясь. Зеркальце не запотело. Тогда она села на стул рядом с Надей.

Анна Евдокимовна долго сидела рядом с мертвой девочкой, но всем своим существом она была с живой Надей.

Она видела, как Надя бежит из булочной домой. Ей хочется прибежать раньше, чем придет Анна Евдокимовна, и затопить печурку. Ей хочется, чтобы все было хорошо в это воскресенье. Отдохнув, Анна Евдокимовна, наверное, ей почтает. Потом они еще поговорят перед сном.

„Анна Евдокимовна, будет в этом году лето, как вы думаете?“ — явственно слышала она Надин голос.

Она никогда не представляла себе Надю летом. Тут она увидела девочку в жаркий июльский день. Надя идет в светлом ситцевом платье, жмурится на солнце, довольная солнцем, теплом.

— Как она выросла у вас! — говорит Рощин.

Наступила ночь. Анне Евдокимовне захотелось увидеть Надино лицо, она встала, зажгла коптилку. Эти привычные движения оказались неожиданно болезненными. Но они заставили ее подумать о своей жизни, в которой теперь, после смерти Нади, будет только постоянная боль.

Взгляд ее упал на лицо Нади, на книгу, раскрытую и брошенную на столе.

„... Вот один образ... спокойный и тихий. Он в своей невинной любви и детской прелести говорит: остановись, вспомни обо мне“.

Впервые за эти гибельные часы Анна Евдокимовна разрыдалась. Но слезы не принесли ей облегчения. Они бы облегчили ее горе, если бы она плакала, только жалея убитую Надю. Но это были слезы человека, который надорвался на подъеме и, придя домой, знает, что не проживет и трех дней.

Час спустя, уже с сухими глазами, строго и прямо сидя подле Нади, она призналась себе в этом.

Очень недолго осталось жить. И то, что осталось прожить, будет, собственно, не жизнью, а простым продвижением к смерти. Как только она подумала об этом, так сразу же в ее мыслях стали отпадать все жизненные обязанности. И вслед за этим, она почувствовала облегчение и спокойнее провела остаток ночи.

В обычный час Анна Евдокимовна вышла из дома. С утра разметелило. С каждым новым резким и холодным порывом ветра снежные вихри становились все плотнее и круче. И ка-

залось, что с каждым новым порывом ветра тяжелое небо все ниже придвигается к земле. Еще немного — и не различить будет неба от земли: снежный столб, разбитый на мириады ледяных кристаллов, несущийся по воле ветра в пространство.

Анна Евдокимовна шла с трудом, увязая в горбатых сугробах. Она шла к дому Рощина, но не для того, чтобы заниматься с детьми. Значит, для того, чтобы проститься с ними? Но Анна Евдокимовна меньше всего хотела сделать детей свидетелями своих последних часов.

Она шла потому, что чувствовала потребность двигаться — все равно куда и зачем. Было без пяти минут десять, когда она прошла мимо дома Рощина.

Все больше накидывало снега, все труднее было идти, но неудержимое стремление двигаться заставляло Анну Евдокимовну крепко держаться на ногах, не падать, не останавливаться.

Анна Евдокимовна не знала, сколько времени прошло с тех пор, как она вышла из дома, и уже не замечала, на каких она находится улицах.

Вдруг она услышала короткие выстрелы издали и вслед за этим свист над головой и где-то вблизи от себя грохот обвала. Анна Евдокимовна, не останавливаясь, свернула в какой-то незнакомый ей переулок. Выстрелы, свист, грохот, и треск продолжались.

Артиллерийский обстрел. Точно такой же, от которого погибла Надя.

Больше она не услышала ни выстрелов, ни свиста. Тяжелая волна от разрыва снаряда

сбила ее с ног. Анна Евдокимовна упала. И в это мгновение ей показалось, что она увидела бешеный разлет осколков, ворвавшихся в этот переулочек и остановивших здесь метель. В следующее же мгновение Анна Евдокимовна поднялась.

Снег был иссечен большими и малыми осколками, а над сугробом на мостовой, куда попал снаряд, стоял черный дым, уже колеблемый ветром, и сам сугроб казался вдруг ожившим вулканом.

Снаряды продолжали рваться в переулке. Но Анна Евдокимовна, повинуясь своему внутреннему голосу, шла вперед. Обтерев рукой мокрое от снега лицо, чуть откинув назад голову, она шла и смотрела кругом, словно желая пережить за Надю все, что пережила девочка.

Пройдя переулочек, она вышла на пустырь и остановилась.

Позади нее все в домах еще звенело и дрожало. Позади нее, в переулке, — Анна Евдокимовна отчетливо представила себе это, — Надя, лежащая на снегу.

— Детей убивают... Ироды проклятые

Быть может, впервые она почувствовала себя кровно связанной с Надей, матерью, еще рыдающей над телом убитой, но уже призывающей к мести и уверенной, что душа ее девочки успокоится лишь тогда, когда убийцы будут наказаны.

Казалось невозможным, чтобы в этом почти бездыханном теле яростно закипала новая страсть. Она не потеснила любви. Она бурно и прямо выросла из любви и, равноправная, встала рядом.

Вот, значит, как сложилась ее жизнь: труд равномерный и упорный, долг, возведенный в мужество, любовь, ставшая смыслом жизни, и ненависть, которую она узнаёт перед смертью.

Изнеможденной, ей невозможно совершить дело ненависти, как она совершила дело любви. Другие посвятят свою жизнь ее требовательной и горячей мести.

Вокруг Анны Евдокимовны было тихо и глухо, но ей казалось, что она видит и слышит великое множество людей, способных мстить до конца.

Час спустя, Анна Евдокимовна нашла свой дом. Она так устала, что едва поднималась по лестнице, с трудом удерживала сознание, чтобы добраться до Нади и еще раз увидеть девочку.

Но, войдя в комнату, Анна Евдокимовна, изумленная, остановилась на пороге. В комнате она увидела Диму и Мишу, стоявших в изголовьи у Нади, и Витю и Лизу, стоявших у ее ног. Другие ученики Анны Евдокимовны тоже находились в комнате.

Была зажжена коптилка. Надя лежала по-прежнему на диване, но голова девочки была убрана цветами. Анна Евдокимовна подошла к ней. Много гвоздик, ландышей, фиалок и роз, правда, искусственных, но таких ярких, что казалось, будто Надина голова покоится на свежей летней поляне. Не было видно раны на виске. Темнокрасный георгин скрыл ее. Кровь была вытерта, лицо умыто. Тени тихо лежали на лице девочки, удлиннили ресницы, успокоили губы.

Дима, Миша, Вита и Лиза отошли от Нади, и на их место встали в изголовье — Маруся и

Юра, к ногам — Ленья и Саша. Только теперь Анна Евдокимовна поняла, что это почетный караул.

Дима усадил Анну Евдокимовну в кресло, снял с нее валенки и стал быстро растирать ей ноги. Маленький Витя, которого все звали „Подрасти немножко“, взял руку Анны Евдокимовны и деловито дышал ей на пальцы.

Вскоре пришел Роцин и сел рядом с Анной Евдокимовной. Он не спрашивал ее о Наде, а рассказывал о самых разных вещах: о том, что скоро прибавят хлеба, что Левшин в районе энергично готовится к весне, к занятиям; рассказывал он и о своей работе и о том, как паровозы очищают ото льда.

— Дети, — сказал Роцин, посмотрев на часы, — уже поздно. Идите домой. Дима, скажи маме, что я дома ночевать не буду. Идите, идите, поздно.

Когда дети ушли, Роцин спросил Анну Евдокимовну:

— Как же это случилось?

Никогда она не думала, что сможет рассказать о случившемся. Но она все рассказала Роцину. Как она шла из столовой, как увидела лежавшую у стены дома Надю...

Оба долго молчали. В теплой комнате, рядом с осторожным и бережливым Роциным, Анна Евдокимовна чувствовала, как ее клонит ко сну. Она подумала о своей жизни, с которой недавно так смело прощалась и которая продолжается, несмотря ни на что.

Роцин провел рукой по ее голове, встал, накрыл своим полушубком.

„Да, жизнь еще продолжается“, думала Анна Евдокимовна засыпая.

Роцин встал рано, и к приходу детей все было готово.

— Я тоже хочу постоять в карауле, — сказала Анна Евдокимовна.

Она встала у гроба рядом с Роциным, и, думая о Наде, она вместе с тем думала, что жизнь еще продолжается.

Роцин с помощью двух самых сильных мальчиков — Миши и Димы — вынес гроб и установил его на санках. Затем все вместе они отправились в путь. Санки вез Роцин, за ним шла Анна Евдокимовна, за нею — ее ученики.

Ко всему привыкшие ленинградцы с удивлением смотрели на эту процессию. Только двое взрослых и — девять детей.

Когда Надю похоронили, Роцин сказал:

— Дети, по домам! Я пойду к Анне Евдокимовне. Дима, скажи маме...

— Не надо, товарищ Роцин, — сказала Анна Евдокимовна. — Я пойду одна. Вы не сердитесь, но я хочу быть одна.

Не страшась, Анна Евдокимовна открыла дверь в свою одинокую комнату. Она осталась жить.

Как это случилось?

Не потому ли, что друзья и ученики в страшный час разделили ее горе и сказали ей о том, как она им нужна? Потому. Не потому ли, что она никому не захотела уступить дело своей ненависти и решила дожидаться возмездия? Да, и поэтому. Потому что душа человеческая не может быть опустошена ничем. Даже смертью.

Анна Евдокимовна зажгла коптилку и не спеша обвела взглядом комнату, в которой она жила и в которой ей предстоит жить. Надо



затопить печурку и приготовить себе еду. Надо записать дела на завтра, надо прибрать Надины вещи и поставить на полку Диккенса.

Утром она пошла к Рощину. Дети ждали ее.

— Мы два дня не занимались, — сказал Дима. Он был старостой. — И я не знаю, какой первый урок.

— Первый урок — география, — ответила Анна Евдокимовна.

*Июль—август 1942 г.*

## Фигурная роща

### I

В дивизию майор Коротков вернулся глубокой осенью на те же места, где был ранен. Он торопился в полк, которым командовал до ранения, но прежде он должен был повидаться с командиром дивизии полковником Виноградовым.

Только начинало светать, и Коротков дождался полковника в комнате, хорошо ему знакомой. Те же обои в цветочках, керосиновая лампа в виде фонаря, большой круглый стол с резьбой на ножках — все так же стояло и летом, и прошлой зимой, когда дивизия заняла этот рубеж.

— Как себя чувствуете, товарищ майор? — спросил адъютант командира дивизии.

— Отлично, — отвечал Коротков.

В дверях стояли шофер полковника — Гринька, молодой парень, старательно отращивающий усы, и повар Иван Иванович. Они молча смотрели на Короткова. Они видели, что Коротков изменился. И не только потому, что после ранения стал хромать на правую ногу (хромота

эта уж не так была заметна), изменился он весь, почти неуловимо, и только человек, хорошо его знающий, мог это определить.

Иван Иванович загасил лампу, а Гринька поднял занавеску.

Холодный туман сонно сползал с изб, открывая деревушку. Черные сучья деревьев дрожали на ветру. Сразу за деревней шло поле, все в болотных кочках и воронках от артиллерийских снарядов и мин. В ясную погоду можно было отсюда различить рощу, в которую упиралось поле. Когда в штаб дивизии приезжали из города артисты на концерт, они обычно спрашивали:

— А где немцы? Далеко?

Полковник подводил их тогда к окну и рукой показывал направление.

— Видите рощу? Там немцы.

В штабных донесениях, да и в обычных разговорах немецкая оборона так и называлась рощей Фигурной.

За эту Фигурную рощу шли бои и прошлой зимой и летом. В бою за Фигурную рощу был ранен Коротков.

— Товарищ майор, к командиру дивизии! — сказал адъютант.

Коротков, стараясь как можно незаметнее хромать, прошел в смежную комнату.

— Товарищ полковник, майор Коротков по вашему приказанию...

— Ну, ну. Вижу, что прибыл, — сказал Виноградов. — Садись. Рассказывай.

— Что ж, товарищ полковник, жизнь госпитальная, сами знаете...

— Знаю. Значит, воевать?

— Воевать, товарищ полковник.

— Места старые, хорошо тебе известные, — сказал Виноградов.

Если бы посторонний человек услышал эту фразу, он бы ничего особенного в ней не нашёл, — но Коротков сразу же уловил интонацию. Фраза Виноградова означала: вот уже вторая зима, а мы находимся на том же рубеже и та же Фигурная роща перед нами. За этой фразой вставала прошлая зима, когда этим рубежом гордились не только в дивизии, но и в армии. На этом рубеже были остановлены немцы, рвавшиеся к городу.

— Последний рубеж, — говорил командир дивизии. — Назад ни шагу ступить нельзя.

Рубеж остался нашим.

Немцы стали усиленно укреплять Фигурную рощу.

Говоря о старых, хорошо известных местах, полковник вероятно имел в виду и летнюю попытку взять Фигурную рощу приступом. Тогда Коротков со своим полком вклинился в глубину немецкой обороны, но другие части дивизии запоздали. Под шквальным огнём немцев Коротков выдержал три дня. Он был ранен, когда получил приказ Виноградова отойти на исходные позиции...

— ...Разрешите быть свободным, товарищ полковник?

— Торопись, — сказал Виноградов. Он подвинулся ближе к Короткову и сказал доверительно: — Заместитель твой, Егорушкин, хорошо справляется с полком.

— Хороший командир, товарищ полковник.

— Хороший. Вот я и думаю: Егорушкина утвердить командиром полка, — сказал Виноградов, пристально глядя на Короткова.

— Слушаюсь, товарищ полковник, — сказал Коротков. — Разрешите доложить, ничего не понимаю.

— Чего ж там не понимать, — сказал Виноградов. — Приказ о твоем назначении начальником штаба дивизии подписан.

Коротков продолжал смотреть на полковника непонимающим взглядом.

— Разрешите спросить?

— Послушаем.

— Значит, я... я негоден, как... как командир полка?..

— Дальше послушаем.

— Если вы думаете, что я хромаю и потому... а если...

— Болтовня, — сказал Виноградов раздраженно. — Негоден... хромота... Я твое назначение с штабом армии согласовал. Понимаешь? Гордиться должен. На эту должность академиков присылают. А вам, товарищ майор, честь оказывают. За боевое умение, за труды. Должен оправдывать. Стыдно! — вдруг крикнул он на Короткова. — Не слышу: рад служить.

— Рад служить, товарищ полковник.

— То-то же! — Командир дивизии прошелся по комнате и, снова подойдя к Короткову, сказал: — Поезжай в полк, товарищей повидай, а завтра в двенадцать ноль ноль быть у меня. Приступишь к обязанностям.

Когда Коротков был уже у двери, Виноградов крикнул ему вслед:

— И хромотой своей не кичись. Ничего!.. Ступайте, майор.

Дивизия занимает оборону. Этими словами сказано все. В них не только боевая задача, в них весь уклад жизни, быт людей. Все пути

изведаны, все тропы пешожены, прошлогодние землянки расширены, прибраны, по семь накатов над землянкой. Хорошо налажена связь между частями. Разведка доносит о любом изменении в стане врага. На каждый огневой налет немцев наша артиллерия отвечает тройным по мощности налетом по изученным целям. Самые знатные люди — снайперы.

Прошло уже два часа беседы командира дивизии с Коротковым, когда адъютант доложил, что прибыл полковник Першаков — командир соседней дивизии. Виноградов сам вышел, и Коротков слышал, как он сказал:

— Рад гостю. Заходите, полковник!

Першаков вошел в комнату, на ходу говоря: — А я из штабарма, домой возвращаюсь. Дай, думаю, заеду, посмотрю, как старик Виноградов живет.

— Мой начальник штаба, — представил Короткова Виноградов.

— Да ну? Своих людей, значит, выдвигаешь? Это, брат, хорошо. Очень хорошо. Так как живем?

— Живем — хлеб жуем, — неопределенно ответил Виноградов.

— М-да... место у тебя здесь, действительно, чортово. Я на своей карте над этой самой Фигурной рощей так и написал — чортово место. А все же слышу, как твои молодцы постреливают.

— Бывает, — согласился Виноградов.

— Вот операция будет, тебе эту рощу сковывать придется, а то еще придется наступление демонстрировать.

— Демонстрация... манифестация... — проворчал Виноградов.

— А что? — спросил Першаков. — Задача почетная. Не все же, в самом деле, лбом стенку прошибать! Вот и начальник штаба скажет. Ему, кажется, шибче всех досталось. Что, Коротков, говорят, охромел?

— Точно, — отвечал Коротков. — А вот на счет Фигурной рожи...

— Ладно, ладно, — сказал Першаков, — я, брат, не любитель дискуссии разводить.

Виноградов вызвал адъютанта.

— Поторопи там, чтобы обедать.

— Все готово, — отвечал адъютант.

За обедом Першаков выпил водки, похвалил пельмени и сказал:

— Да, брат ты мой, операция будет. И солидная... Это я тебе говорю. Однако помини мое слово: ни ты, ни я решать дело не будем. Удар будет не с нашей стороны.

Виноградов ел молча и, казалось, был поглощен вкусными пельменями. Коротков тоже молчал. Он думал о своей поездке в полк.

В полку встретили его замечательно. С Егорушкиным они расцеловались, и тот сказал:

— Наконец-то!.. Ну, хозяйство я тебе в лучшем виде представляю. — Коротков сообщил о новом своем назначении, и Егорушкин сказал искренно: — А я-то думал — вместе повоюем...

Обоим взгрустнулось. Вспомнилась летняя операция, как долгими часами просиживали над картой, и вечер, и ночь сидели, пока, наконец, зеленые просеки, черные станционные будки и белые лужайки не отрывались от карты и не начинали плавать в густом табачном дыму.

— Как приказано было назад повернуть, — сказал Егорушкин, — так у меня аж внутри

все оборвалось. Может, на нашем участке вообще наступать нельзя? — спросил Егорушкин, и Коротков вдруг твердо сказал:

— Я от прежней мысли не отказываюсь. Ну, пошли хозяйство смотреть!

Коротков разговаривал и со снайперами, и с разведчиками, и с артиллеристами, и с саперами, беседовал с командирами, и все ему казалось, что он слышит один и тот же вопрос: „Может, на нашем участке вообще нельзя наступать?“

— ... Я от прежних мыслей не отказываюсь, — сказал Коротков, когда Першаков уехал.

— Голова командиру дана для того, чтобы думать, — сказал полковник, — а упрямство в мыслях вещь хорошая, если мысли правильные. Хозяйством ты остался доволен?

— Егорушкин все держит в порядке.

— Порядок и в других полках, — сказал Виноградов. — Ну, что ж ты молчишь?

— Разрешите откровенно, товарищ полковник?

— Только так.

— Для прошлой зимы этот порядок был бы, действительно, образцовым, но сейчас...

— Вот она, жизнь госпитальная, к чему приводит, — сказал Виноградов и засмеялся. Потом он вновь стал серьезным, нахмурился и сказал: — Вторая зима... Да... вторая зима... — повторил командир дивизии. — Ну, докладывай, я тебя слушаю.

Мысль о том, что дивизия может осуществить наступление и овладеть рожей Фигурной, никогда не покидала Короткова. В сущности говоря, это была его главная



мысль, которой все другие мысли были подчинены. Но прошлой зимой и летом Коротков думал о наступлении только одного полка, которым сам командовал. Теперь он думал о наступлении в масштабе гораздо большем.

Но не только изменился масштаб. За то время, что Коротков находился в госпитале он мог по-новому оценить все, что было испытано здесь в поле, перед Фигурной рощей. К концу пребывания в госпитале у Короткова созрел план новой наступательной операции, которую он и хотел предложить командиру дивизии. К счастью, он не сказал о своем плане в первое свое свидание с Виноградовым. За эти сутки он понял то, чего не мог понять раньше: что его план будет осуществлен только тогда, когда для каждого человека в дивизии мысль его станет жизненно необходимой.

После посещения полка Коротков стал свободно излагать свою мысль командиру дивизии, и в нем росла радостная уверенность, что Виноградов разделит его план.

Никто не знал о разговоре Виноградова с Коротковым, но, начиная с этого дня, жизнь в дивизии круто изменилась. Собственно говоря, это были перемены во внутренней жизни дивизии, так как внешне все шло попрежнему. Попрежнему дивизия занимала оборону перед Фигурной рощей, отвечая на огневые налеты немцев, попрежнему снайперы стерегли немцев, с каждым днем увеличивая истребительный счет, попрежнему перекликались связисты, соревнуясь на лучшую слышимость, — и все же

каждый человек почувствовал крутую перемену в своей жизни.

Ежедневно недалеко от передовой линии рылись новые траншеи, сооружались надолбы и эскарпы, строились дзоты, натягивалась колючая проволока, вокруг нее возникали минные поля. Когда через несколько дней Виноградов и Коротков еще раз сверили „строительство“ с многочисленными данными разведки, они констатировали, что недалеко от Фигурной рощи выросла новая „Фигурная роща“.

Командир дивизии приезжал домой возбужденный. Непонятно было, откуда приехал Виноградов, — „оттуда“, с переднего края нашей обороны, или „отсюда“, из „Фигурной рощи“, где он только что руководил отражением контратаки противника в глубине его обороны. Коротков отрывался от карты. Они обедали вместе.

Коротков с некоторой завистью смотрел на командира дивизии. Пожалуй, ему нехватало воздуха за работой в штабе, воздуха первых заморозков. Ему нехватало движения по твердой, уже тронутой морозом земле. Виноградов, садясь за стол, рассказывал:

— Егорушкин видел Першакова. Першаков его спрашивает: „Верно, говорят, Виноградов войну начал... в тылу дивизии?“...

— Что же Егорушкин?

— А Егорушкин отвечает: „Я, товарищ полковник, сам потерялся — где у нас фронт, где тыл“. Еще спрашивал Першаков: верно ли, что Виноградов боевого командира за карты посадил?

Полковник Виноградов и Коротков были вызваны к члену Военного Совета армии. Вино-

градов приказал седлать лошадей, и Гринька одиноко возился около машины.

Они выехали заблаговременно. Коротков был доволен, что едет верхом, во-первых, потому, что Виноградов не обратил внимания на его хроющую ногу, а, во-вторых, потому, что ощущал то же волнение, что и командир дивизии, а езда верхом требовала физических усилий и отвлекала мысль от главного.

Однако весь путь оба думали об этом главном, что составляло их жизнь и стало, собственно, смыслом их жизни. Перемены, происшедшие в дивизии по воле Виноградова, стали бытом людей, и этот новый и очень трудный быт заставлял всех людей в дивизии думать, что они совершают дело чрезвычайной важности, связанное с разрешением вопроса, уже давно ставшего для каждого личным. Если бы этот установленный Виноградовым быт, называвшийся боевой учебой в боевой обстановке, был нарушен, люди бы решили, что вопрос будет разрешен без их участия, а это невыносимо для воюющих людей.

Некоторые недоверчиво относились к этой начатой Виноградовым решительной перестройке людей и указывали на несоответствие учебы с задачей, прямо поставленной перед дивизией — держать оборону. Першаков добавлял, что Коротков всегда был философ, а сейчас ему хромота в голову ударила, но что Виноградов его удивляет, — видно, старый чорт попался на удочку этой самой философии.

Виноградов и Коротков ехали молча. Не доезжая деревеньки, в которой разместился штаб армии, они припустили лошадей, и

У крыльца дома, где жил член Военного Совета, остановились, разгоряченные, с видом молодцеватым и даже задорным.

Член Военного Совета, поздоровавшись с ними, сразу же сказал:

— Ну, рассказывайте, чего вы у себя там натворили?

Коротков быстро взглянул на Виноградова. Командир дивизии откашлялся и, волнуясь, стал докладывать. Коротков внимательно слушал Виноградова и вдруг с ужасом почувствовал, что не узнает ни мыслей, ни планов, ни всего того, что делается в дивизии. Слова Виноградова казались Короткову пустыми, холодными, ничего не выражающими.

Член Военного Совета несколько раз произвольно улыбнулся, и Коротков, холодея, подумал, что Виноградов все погубил. Но когда Виноградов кончил доклад, член Военного Совета сказал:

— Все это очень интересно, тем более, что командующий говорил уже о задаче, стоящей перед вашей дивизией в будущей операции — *овладеть* Фигурной роцей. Сейчас мы поедем к вам, и вы покажете мне, как учатся ваши люди, а затем познакомьте меня с вашими планами.

Все дальнейшее Короткову запомнилось как сон. Они вышли из дома члена Военного Совета и сели в его машину, оставив своих лошадей. Приехав домой, Виноградов совершенно избавился от странной для него робости и стал громко объяснять, как сделан макет Фигурной роцы, показывал члену Военного Совета искусство ближнего боя, стрельбу орудий без прицелки, по расчетам, умение связистов восста-

навливать линию при любых условиях, поиск разведки в глубине обороны противника. . . Затем в землянке Коротков показал свое святая-святых — карту, где разноцветными линиями была рассказана главная мысль — наступление дивизии на Фигурную рошу двумя потоками, с левого и правого флангов, и соединение наших двух флангов в тылу немцев для окончательного их разгрома.

— Главное — это соединить клещи, — говорил Коротков, как во сне слыша свой голос откуда-то издалека.

Он понимал, что происходит экзамен на военную зрелость и что, объяснив и доказав решение задачи, он позволит тысячам людей осуществить ее.

Член Военного Совета уехал из дивизии подней ночью. Коротков вызвался его сопровождать. Он впервые вспомнил о лошадях и просил Виноградова не посылать за ними.

— Я сам, — говорил он, и Виноградов улыбался понимающе.

В штабе армии Коротков пошел искать лошадей. Бойцы уже дважды задавали им корм. Они с удивлением смотрели на прихрамывающего майора, который ловко вскочил на свою лошадь, взял под уздцы другую и поскакал.

Желтая, спокойная луна стояла над дорогой. Темные пушистые тени деревьев скрещивались под копытами лошадей. В морозной тишине был слышен только цокот копыт. Коротков засмеялся. Он знал, что предстоит еще очень многое. Надо учить людей, надо усилить разведку, надо еще больше породниться со

штабной картой. Предстоит свидание с командующим, много разговоров, разных сомнений и волнений, но Коротков уже знал, что его мысль признана. Он скакал по снежной дороге и смеялся. Предчувствие победы коснулось его.

Наступление было продумано и решено командованием армии. Одновременно наступали все части. Коротков наизусть знал приказ, но сейчас, перед наступлением, он думал только о своей дивизии. То, что в приказе занимало несколько строк, фраза, что „дивизия имеет задачу овладеть рощей Фигурная“, было настолько огромно для Короткова, что ни для чего другого ни в мыслях, ни в сердце не оставалось места. Все чувства и желания заключались в этой фразе.

Виноградов ушел на свой наблюдательный пункт за час до операции. Уходя, он попрощался с Коротковым.

— Ну, майор, желаю удачи.

Коротков крепко пожал протянутую ему руку.

— Успеха, товарищ полковник!

Коротков несколько раз связывался с наблюдательным пунктом, проверяя линию. Ему было приятно всякий раз слышать знакомый бас полковника, казавшийся ему в это утро особенно уверенным.

В десять часов утра началось артиллерийское наступление. Уже через пять минут по всему фронту стоял тяжелый непрерывный гул, в котором слились тысячи выстрелов, свист невидимого полета тысяч снарядов, уханье разрывов на вражьей стороне.

Немцы были оглушены, подавлены огнем п  
сталью. Фигурная роца молчала, заволоченная  
густым черным дымом.

Коротков знал уже, что артиллерийское на-  
ступление идет хорошо и слаженно, но он знал  
также, что не снаряды, а люди решают успех  
операции. От людей, от множества людей, со-  
ставляющих дивизию Виноградова, от того, как  
эти люди будут вести себя в бою, зависит ко-  
нечный итог, и только людям предстоит дока-  
зать правильность мысли, создавшей план на-  
ступления на Фигурную роцу.

— Перенос огня, — заметил капитан Бобычев,  
помощник Короткова, и Коротков кивнул го-  
ловой.

Наступает решительный момент. Люди стре-  
мительным броском выскакивают из траншей.  
Разрывы наших снарядов указывают путь.

Прошло пятнадцать минут. Никто в штабе  
не нарушил молчания.

— „Пальма“, — тихо сказал связист, когда  
защипала телефонная трубка.

Коротков вырвал трубку.

— Сорок девятый слушает. — Затем лицо  
его просветлело.

Первая линия немецких траншей была за-  
нята. Виноградовская дивизия врезалась в  
Фигурную роцу с левого и правого флан-  
гов.

— Милые мои, дорогие, — шептал Коротков,  
склонившись над картой. Он попрежнему при-  
нимал донесения штабов частей, отдавал при-  
казания, следил за связью, но губы его шеп-  
тали: „Милые мои, дорогие...“

Здесь, в штабе дивизии, расцветившая карту  
новыми значками, он слышал бой и словно

чувствовал биение его пульса. Он знал, что, как бы хорошо ни были подготовлены люди, как бы точно каждый из них ни знал свою задачу, сражение никогда не разворачивается в точности по плану. За чертой, отделяющей подготовку к сражению и само сражение, вмешивается смерть. Как бы ни были закалены люди, как бы ни был высок их дух, как бы ни горели они ненавистью к врагу, — наступает момент в бою, требующий новых физических и моральных усилий, момент, когда человек должен не только смотреть прямо в глаза смерти, но и стать сильнее смерти. И Коротков продолжал думать, что дело военачальника создать такие условия боя, при которых человеку возможно осуществить это усилие.

Два людских потока врезались в Фигурную рошу слева и справа и достигли, наконец, необходимой глубины. Виноградов приказал этим двум потокам соединиться, так как главное было в том, чтобы эти клещи сомкнулись.

На правом фланге был ранен Егорущкин, и Виноградов приказал командовать полком майору Слободскому. Здесь, на правом фланге, было очень трудно. Немцы удерживали насмщенную огнем линию обороны уже в тылу Фигурной роши, прекрасно понимая, что занятие этой линии позволит нам сомкнуть клещи.

Правый фланг, который должен был в это время повернуть на соединение с левым, оставался неподвижным. Виноградов справедливо торопил правый фланг. Все было рассчитано на стремительность, промедление означало, что немцы подтянут новые силы и что не мы будем у них в тылу, а они будут бить нас с тыла.



Успех дивизии, в особенности на левом фланге, был очевиден, но Виноградов и Коротков знали, что наивысшего напряжения бой достигнет только сейчас и все зависит от ближайших минут. Коротков потребовал сведений, и штаб бывшего его полка отвечал:

— Первый батальон залег. Командир батальона убит.

Коротков машинально сделал отметку на карте и, соединившись с Виноградовым, сказал:

— Прошу нашего приказа. Первый батальон не может подняться. Я должен быть там. За меня останется Бобычев.

— Действуй, — услышал он тяжелый бас Виноградова и выбежал из дома. Связаной мотоцикл ждал его.

— Направо, — сказал Коротков водителю. Водителю не надо было приказывать спешить, спешить что есть силы. Поднимая снежные вихри, мотоцикл мчал по знакомой дороге, перемахнул через траншею и, выехав на просеку, перешел на предельную скорость. Сквозь дым они проскочили просеку и остановились возле первого батальона.

Люди лежали, прижавшись к земле, черной от разрывов, с белыми подпалинами снега. Немцы били из хорошо оборудованного дзота. Коротков понял, что нельзя сейчас поднимать людей, не потому, что они не поднимутся, а потому, что они могут снова залечь.

— Пушку вперед! — закричал Коротков. Два артиллериста, с совершенно черными лицами, выкатили из-за укрытия пушку. Коротков крикнул: — А ну, товарищи, глядите!

Он нагнулся и навел орудие по стволу.

— Так вернее! — продолжал кричать Коротков.

Один из артиллеристов вложил снаряд. Коротков дернул шнур, люди, лежавшие на земле, с удивлением смотрели на хромого человека в полушубке, неизвестно откуда появившегося здесь, перед ними.

Дзот замолчал. И без него было довольно черного вихря пуль и осколков, но то, что Коротков заставил замолчать этот дзот, позволило ему крикнуть:

— Я — Коротков. Начальник штаба. Идемте за мной, товарищи! Идемте за мной! Бей немцев! — Он скинул полушубок и еще раз закричал: — Бей!

Он был уже впереди лежащего батальона и, похрамывая, побежал вперед, но он знал, что люди поднимутся, он знал, что люди не могут не подняться, потому что в наивысший момент боя, там, где требуется новое и последнее усилие, он нашел верные слова и верное движение. Он пробежал несколько метров вперед и, оглянувшись, увидел, что люди бегут за ним, на ходу сбрасывая полушубки, а те, кто еще не поднялся, не смогут устоять против общего увлекающего и естественного для каждого человека движения вперед.

Еще не придумана сила, которая способна остановить людей, совершающих свой лучший жизненный подвиг. Первый батальон ворвался в немецкие блиндажи. Коротков вновь испытал давно знакомый ему восторг правого человека при виде возмездия. И он все время продолжал кричать „Бей!“, потому что именно в этом слове был великий исход сражения.

Вдруг Коротков увидел бегущих навстречу ему людей с другой стороны траншеи. В первый момент он не понял, что это свои, что это левый фланг и что на его глазах происходит соединение двух человеческих потоков, завершивших окружение Фигурной роши.

Когда он понял, что главная мысль — о том, что дивизия может овладеть рошей Фигурной, осуществлена, он прежде всего подумал, что надо немедленно дать знать Виноградову и что отсюда этого сделать нельзя, так как связи еще нет.

Тогда он выполз из траншеи и направился назад к тому месту, где недавно лежал первый батальон, а потом вышел на просеку. Он шел чуть покачиваясь, как человек, хлебнувший в меру для себя. Его догнал связной мотоциклист и усадил на машину.

## II

Каждое событие, как бы значительно оно ни было, теряет со временем тот особый личный характер, который определяется отношением к нему участников, и само это отношение со временем изменяется.

Прошла зима, и Фигурная роша перестала быть и для Виноградова, и для Короткова, и для всей дивизии тем, чем была раньше, — синонимом немецкой силы и неприступности. И о бое за Фигурную рошу стали говорить как об одном из удачных боев зимней кампании.

Овладев Фигурной рошей, дивизия вела бои за поселок, бывший когда-то дачным ме-

отом, и в начале мая, выгнав немцев из поселка, не остановилась, а продолжала бой за железнодорожную насыпь и, преодолев сопротивление немцев, отодвинула их за железную дорогу.

Теперь в роще Фигурной находились тылы дивизии и медсанбат. В самом поселке расположились штаб дивизии и отдельные батальоны.

Виноградов сидел за столом в своем новом кабинете — насдех побеленном, одним окном, выходящем на обгоревшую улицу, другим — на сарай, весь в щелях от пуль и осколков.

Напротив Виноградова сидел худой, костистый человек в военной форме, но без погон. Это был Кочкуров, председатель местного совета, вошедший в поселок вместе с дивизией.

— Ужас, что делается, товарищ генерал-майор, — говорил он морщась, как от боли. — Собрали ребятшек, — почти каждый спрашивает: а где мамка? А мамку или зацытали, или в Берлин на каторгу...

— Как идет эвакуация? — спросил Виноградов.

— Сегодня, как стемнеет, всех детей отправляем. А вот со взрослыми беда. Говорят: теперь Красная Армия пришла, — нечего нам бояться. Тут вот рыбак есть. Махортов. Махортов — его фамилия. Ему семьдесят лет. Очень слабый. Не едет. Говорит: строиться буду. Ну, я пойду, — сказал Кочкуров, встав и поправив ремень.

Виноградов в окно видел, как он пошел по направлению к дому, над которым развевался небольшой красный флаг. В спокойных майских сумерках древко и полотнище флага выделялись резко.

Был час глубокой вечерней тишины, когда вся природа находится в оцепенении и только бледная половинка луны да несколько звездочек трепещут в огромном майском небе, ожидая темноты.

Сумерки преобразили поселок. Разрушенные бомбардировкой дома словно подровнялись к своим уцелевшим соседям, выбоины на мостовых и тротуарах терялись в вечернем свете, и даже обгорелые остовы казались менее безобразными.

Несколько красноармейцев расчищали заваленный вход в небольшой холмик, служивший немцам укрытием. Виноградов недовольно покосился на неубранный труп немца, лежавший возле искалеченного станкового пулемета.

— Шинель! — сердито крикнул Виноградов и, одевшись, тоже вышел на улицу.

Виноградов шел не спеша, заложив руки за спину. Так, в задумчивости, он прошел всю улицу. Перед ним чернело поле, а за полем он угадывал железнодорожную насыпь.

Вот уже несколько дней, как наступившая после удачного дня нас боя тишина ничем не прерывалась. Только днем появлялись немецкие самолеты-разведчики и быстро исчезали, подгоняемые нашими зенитками.

Война научила Виноградова не доверять тишине. Все эти последние дни он думал об одном: что немцы будут пытаться вернуть поселок и железную дорогу.

Виноградов гордился тем, что он выбил немцев из населенного пункта (так это и было сказано в газетах). Взятие Фигурной роши с ее мертвыми полянами, деревьями, изглоданными снарядами, не могло дать тех высоких чувств

освободителя, которые испытал Виноградов после взятия поселка.

Он вспомнил, как после боя к нему подошел, опираясь на самодельный костылек, мальчик лет семи и доверчиво дотронулся до его португези и как он обнял мальчика и поднял на руки вместе с костыльком, а вокруг кричали „ура“.

Невдалеке послышалось гудение грузовиков.

„Это детей увозят, — подумал Виноградов. — Хорошо, что увозят“, думал он, но эта мысль была ему неприятна. Отъезд детей только подчеркивал, что немецкая опасность для этих мест не миновала.

Сейчас Виноградов чувствовал себя невольным виновником отъезда детей, вынужденных уехать из поселка, потому что поселок небезопасен.

В этом состоянии смутной тревоги Виноградов постоял еще несколько минут. Возвращаться домой, в штаб, не хотелось. Он свернул влево и пошел по околице поселка.

Уже стемнело, с трудом можно было угадать контуры домов, но небо еще сохраняло блеклые тона, и в этой неверной майской ночи поселок казался еще более тихим и безлюдным.

Виноградов шел мимо землянок разведроты. Подле одной из землянок, на бревнышке, сидел человек и курил. Лицо человека при слабом огоньке папиросы показалось ему знакомым.

— Волков?

Человек вскочил и, бросив папиросу, стал быстро застегивать ворот гимнастерки.

— Товарищ генерал-майор, младший лейтенант Волков...

— Почему не спишь? — прервал его Виноградов.

— Не спится чего-то, товарищ генерал-майор.

Виноградов сел на бревнышко и, думая совсем о другом, переспросил:

— Не спится?

— Так точно, товарищ генерал-майор. Малость устал.

То, что человек не может уснуть, потому что устал, не показалось Виноградову странным. Он кивнул головой, протянул Волкову папиросу и, пока тот закуривал, внимательно посмотрел в глаза младшего лейтенанта.

— Кажется, уже несколько дней, как не воюем, можно было бы и отдохнуть, — сказал Виноградов ворчливо.

— Точно так, товарищ генерал-майор.

— Ну, а люди твои?

— Все в порядке, товарищ генерал-майор. Люди здоровы, настроение высокое. Бойцы спрашивают: скоро ли воевать будем?

— А что, немцев бить понравилось? — спросил Виноградов, не то улыбаясь, не то хмурясь.

— Разок бы еще так двинуть, товарищ генерал-майор. . .

Виноградов помолчал.

— Ну, иди спать, — сказал он. — Надо спать, а не дымить табаком, — добавил он поучительно.

— Слушаюсь, товарищ генерал-майор.

Теперь Виноградов решил идти домой, в штаб, но не обратным путем, а вокруг поселка.

Воле землянок, поросших травой, из которых торчали трубы печурок, в разных позах лежали люди, негромко переговаривались или играли в козла, смеясь подносили костяшки близко к глазам, чтобы разглядеть счет. Но

Виноградов больше не останавливался, сосредоточенный на своих мыслях.

Дежурный, признав командира дивизии, бросился ему навстречу, но Виноградов сделал жест рукой, показывая, что рапорта не нужно.

Между тем, уже светлело. Черная пелена быстро сходила с поля. Стали видны строения. Какая-то птичка вскрикнула спросонья, разбудила других, и вдруг, словно впервые поверив в тишину этого утра, запели птицы.

Виноградов увидел седенького старичка, вышедшего из полуразвалившейся хибарки. На нем была фуражка с полинялым козырьком, черный, аккуратно залатанный пиджачок, брюки галифе, завязанные тесемками на щиколотках, и серые парусиновые туфли. В руках он держал ножовку.

Старичок осмотрелся, прислушался к звонким птичкам и подошел к козлам, стоящим у хибарки. На козлах лежала небольшая доска. Старичок еще раз осмотрелся, потом, левой рукой придерживая доску, стал пилить.

— Что делаешь, старик? — спросил Виноградов, чуть поеживаясь от утренней прохлады. — Растопки разве мало?

— Этакую доску на растопку... Скажут тоже... Не видишь, — квартира погнулась, — забормотал старик, продолжая пилить.

(„Это, должно быть, тот самый Махортов, о котором говорил председатель“, подумал Виноградов.)

— Строишься? — спросил он.

Старик усмехнулся.

— Полтора года ждали.

Виноградов внимательно смотрел на старого рыбака и вдруг улыбнулся своим мыслям.



— Ну, счастливо, отец, — сказал он.

— И тебе того же, — равнодушно отвечал Махортов, так за весь разговор ни разу и не взглянув на Виноградова.

Свет уже был ровный, утретний, и только тишина отмечала белую ночь. Когда Виноградов лег на свою койку, он в окно видел, как сквозь щели сарая пролились спокойные розовые и золотистые лучи.

Засыпая, он подумал о своей прогулке и о том, что его мысли приняли другой оборот. Сдерживая желание заснуть, он припоминал: что же случилось? Уехали дети, потом он ходил без цели, встретил Волкова, потом старика Махортова. Ничего особенного не случилось. И все же что-то произошло. Но что?

„Завтра, завтра я во всем этом разберусь“, успел подумать Виноградов в мгновение, отделявшее его ото сна.

На семнадцать ноль ноль Виноградов назначил совещание командиров. В течение дня Коротков несколько раз пытался доложить Виноградову, но всякий раз адъютант с виноватой улыбкой говорил: — Никого приказал не пускать к себе, — и разводил руками, словно говоря, что и сам он не понимает: как это „никого не пускать“ может относиться к Короткову? — Дважды по телефону с командующим говорил, — добавил адъютант многозначительно.

Коротков был обижен на Виноградова. Все последние дни командир дивизии держался замкнуто.

„Это происходит потому, что у него новые

й очень важные мысли, которыми он ни с кем не хочет делиться<sup>а</sup>, успокаивал себя Коротков.

Только за час до совещания Виноградов вызвал начальника штаба.

Коротков со строгим выражением на лице, которое должно было скрыть обиду и подчеркнуть достоинство, подошел к столу.

— Сведения о потерях, которые вы требовали, товарищ генерал-майор, — сказал он.

Коротков знал, что к этого рода сведениям Виноградов относится с особым вниманием. Обычно, прежде чем подписать, он по многу раз перечитывал их, делая замечания и как бы заново переживая прошедшую операцию.

Но сейчас Виноградов, едва взглянув на сведения, кивнул головой, словно говоря: „Да, да, все это мне хорошо известно“. Его лицо в отличие от последних дней не выражало тревоги.

— А чье хозяйство меньше всего потеряло?

— В полку Егорушкина потери незначительные, товарищ генерал-майор, — отвечал Коротков.

— Молодец Егорушкин, — сказал Виноградов весело. — Сейчас мы его в резерв определим. Вот сюда, товарищ начальник, за медсанбат, — продолжал Виноградов все так же весело, показывая на карте Фигурную рощу.

— Слушаю-с, товарищ генерал-майор. — („Вероятно, нас отводят на отдых, — подумал Коротков, — а оборону будет держать свежая дивизия. Вот почему Виноградов был сумрачен эти дни. Откуда же эта веселость сейчас? Неужели напускная?“)

Виноградов вышел из-за стола и подошел к окну. Он стоял спиной к Короткову, любуясь ярким весенним днем.

— Сошлись наши данные с данными армейской разведки? — спросил он, не поворачиваясь.

— Данные сходятся, товарищ генерал-майор, — сказал Коротков. — Немцы готовят наступление. Вероятнее всего — удар по участку, который занимает сейчас наша дивизия.

Виноградов медленно повернулся к Короткову.

— Удар всеми средствами по слабому звену — так?

Коротков молчал.

— Надо отбросить немцев от этих мест, — сказал Виноградов.

(„Значит, свежие части будут наступать, — подумал Коротков. — А мы?..“ Мысль о том, что дивизия не сможет принять участие в наступлении, больно кольнула Короткова.)

— Я уверен, что немцы сделают ошибку и будут наступать на слабое звено, — сказал Виноградов, упирая на последние два слова. Он подошел к Короткову и знакомым движением взял его обеими руками за плечи.

— Викентий Николаевич, — сказал Коротков, чувствуя на себе взгляд Виноградова и желая освободиться от его влияния, чтобы лучше объяснить свою мысль. — Викентий Николаевич, — Коротков молча показал на папку с документами о потерях дивизии.

— Мы сильнее, — сказал Виноградов убежденно.

Вошедший адъютант доложил, что командиры собираются.

— Проси всех сюда, — сказал Виноградов.

Через десять минут началось совещание.

Виноградов сделал доклад о строительстве оборонных сооружений. Первой линией обороны

Дойжей был служить передний край. Вторая линия обороны — по мысли Виноградова — проходила за глубоким оврагом. Третьей линией обороны являлась железнодорожная насыпь.

Уже с первых его слов командиры почувствовали значительность предстоящих событий.

Когда Виноградов назвал цифру новых дотов и дзотов, майор Бобычев, славящийся в дивизии своей невозмутимостью, приподнялся со стула, но, чтобы скрыть волнение, сразу же сделал вид, что поправляет гимнастерку.

Начарт Федореев слушал доклад, приложив ладонь к уху, но как только Виноградов перешел к устройству огневых позиций и пушечных казематов, Федореев отнял руку от уха.

„Эге, — подумал он. — Мне новые игрушки дают!“

Капитан Бакушев, прозванный в дивизии „саперным богом“, своими маленькими живыми глазками во время доклада преданно смотрел на Виноградова, но в то же время прикидывал, что надо будет переоборудовать немецкий эскарп, и планировал новые минные поля.

„Значит, оборона, — думал Коротков, досадуя на себя, что он до совещания не понял Виноградова. — Жесткая оборона, но оборона, а ведь Виноградов говорил...“

— Строить быстро и хорошо, чтобы немцы не застали нас врасплох, — сказал Виноградов, и Коротков вдруг почувствовал, что командир дивизии прямо смотрит на него.

— Не кто другой, а мы будем здесь воевать, — продолжал Виноградов, прямо глядя на Короткова, и, словно боясь, что тот его не поймет, добавил: — Наша оборона подчинена общей задаче разгромить и отбросить немцев, раз и навсегда

обезопасить железную дорогу и поселок. Все подробности и так далее получите, товарищи командиры, завтра у начальника штаба дивизии, — сказал Виноградов и сел.

Командиры выступали коротко. Они избегали общих мест и старались говорить каждый по своей специальности. Коротков видел, что они взволнованы.

„Саперный бог“ Бакушев говорил о рельефе местности, удобной для обороны, но вдруг голос его переломился.

— Земля наша, — сказал Бакушев. — Я только так понимаю.

— Я своим солдатам объясню, — сказал Егорушкин, — какую надежду командир дивизии на резерв возлагает. Этой надеждой жить будем. И я сам. . . товарищ генерал-майор, — прибавил Егорушкин. Лицо его покраснело.

„Как я не понял этого раньше, — думал Коротков, — как я не понял, что нельзя нас заменять никакой другой частью, что люди хотят, что мы хотим удержать эти места сами. Мне, Короткову, казалось, что я знаю законы войны, но вот есть высшие законы, которых я не знал“.

После совещания командир дивизии задержал у себя Короткова. Виноградов видел впечатление, произведенное своим приказом. Он подошел к Короткову и, снова взяв его за плечи, сказал улыбаясь:

— Мы сильнее.

Они работали всю ночь, и только в первом часу Виноградов не надолго оторвался от схем, чертежей и планов: приехала доложиться Нелевцева — новый командир медсанбата, присланная сануправлением взамен убитого Воронкова.

На совещании Виноградов назвал огромную цифру оборонительных сооружений, которые должны быть выполнены дивизией. В какой срок? „В кратчайший“, говорил Виноградов. Но что значит в кратчайший? До немецкого наступления. Это ясно. Но когда немцы начнут наступать? На этот вопрос никто не мог бы определенно ответить.

— Немцы считают, когда сделают все приготовления к штурму, а мы считаем— когда выполним все наши работы, — шутил Виноградов, но в этих словах было немало правды.

Волков и его взвод были единственными людьми в дивизии, не принимавшими участия в строительстве. Виноградов выделил их из разведывательной роты и лично давал задания разведчикам перед каждым поиском в тылу немцев.

— Только глаза и уши, — говорил Виноградов, — рукам воли не давать.

Разведчики ползком подбирались к дороге. По ней шли громадные тракторы-тягачи с прицепными платформами, на которых были установлены чистенькие орудия, шли грузовики со снарядами, шла немецкая пехота.

Разведчики не прятались в придорожных кустах: молодые побеги не выдерживали едкой пыли, хирели, теряли зелень. Надежнее были елки. Но май коснулся и строгих елей, и Волков, прячась за этим вечным деревом разведчика, боялся чихнуть от смолистого запаха набухших почек.

Самым опасным для разведчиков были наши пикирующие на дорогу самолеты.

— Ну, пронесло! — говорили они после очередного налета. И Волков считал разбитые

машины и видел, как объезжают их следующие грузовики, потом обломки сбрасывают в большие фургоны, раненых увозят, не нарушая колонны, а кровь посыпают песком.

Волков, докладывая как-то Виноградову о разведке, сказал:

— Идут они, как и раньше. . . — и не докончил фразы.

— Идут-то они, как раньше, а вот как? . . . И что — ночью фар не тушат?

— Нет, тушат, — сказал Волков.

— Вот видишь!

Виноградов хотел этим сказать, что не так-то все у немцев, как раньше, что идут-то они по-старинке, а воевать не придется, как раньше. Но что ж Волкову это говорить?

Виноградову надо доказать и Волкову и всем своим людям, что они победят немцев, которые „идут, как раньше“, и потому победят, что люди стали иными.

Виноградов знал силу оборонительных сооружений, но не в них он видел победу, а в людях дивизии, более сильных, чем немцы.

Он знал, что люди устали, но не сказал им — надо отдохнуть, а решил, что они могут превзойти себя, осуществить Виноградовский план и добыть победу. Ничто не могло уменьшить его ответственность.

Дни стояли жаркие, как летом. На темно-синем, разгоряченном небе уже появились кудлатые, выпуклые облака.

Виноградов целыми днями разъезжал по частям, осматривая все новые укрепления. Разговаривая с красноармейцами и командирами, он видел разных людей — внимательных,

веселых, строгих, сосредоточенных, улыбающихся, озабоченных, озорных, замкнутых, приветливых, решительных. Ни на одном лице Виноградов не видел страха.

Гроза разразилась внезапно. Выпуклые облака, обведенные по краям коричневыми полосами, медленно сталкивались друг с другом, потом, соединившись, обратились в черную тучу, и из тучи, словно ее прокололи в разных местах, брызнули маленькие злые молнии. Гром, перекатываясь, ворочал тучу. По земле пробежал холодный ветерок. Вслед за ним хлынул дождь.

Нелевцева в одиночестве сидела за своим столом на веранде, застекленной маленькими разноцветными окнами. Эта веранда чудом уцелевшего дачного домика была превращена в штаб медсанбата.

Нелевцева была женщиной еще совсем молодой и с лицом в своем роде необыкновенным. Подбородок и рот были по-мужски строго и резко очерчены, глаза же и в особенности лоб были удивительно нежными.

Нелевцева задумчиво смотрела на преобразенные окнами сиреневые, оранжевые, зеленоватые потоки воды. По ее плотно сжатым, словно стиснутым губам можно было предположить, что она серьезно задумалась, но в то же время взгляд ее был по-девичьи ласков и спокоен.

Туча, изойдя ливнем, быстро растворялась в небе. Еще немного побрызгал редкий дождичек, потом стало светло, широко и ясно. Гроза, видимо, ушла на запад, — оттуда были слышны раскаты грома.



Нелевцева вышла в зад. Запах сырой зелени крепко стоял в воздухе. Она обошла палатки: не протекла ли вода? Все было в порядке. В это время ее окликнули:

— Товарищ начальник, к телефону!

Она побежала обратно к домику; стараясь не замочить ног, перепрыгивала через лужи и так запыхалась, что, взяв трубку, едва назвала свои позывные.

Говорил Коротков.

— Как у вас готовность, товарищ 08?

— Есть готовность, — отвечала Нелевцева.

— Грозу слышите? — спросил Коротков.

— Гроза прошла, товарищ 49, — серьезно отвечала Нелевцева.

Коротков захохотал в трубку.

— Ну, а у нас началась... Вы к какой грозе готовы?

Нелевцева смутилась.

— Есть готовность, товарищ 49, — повторила она, отчеканивая каждый слог.

— Если что будет неладно, звоните мне. Помогу, — закончил Коротков разговор.

Положив трубку, Нелевцева увидела вернувшихся с оборонных работ сестер. Старшая из них подошла и отработала.

— По местам, — сказала Нелевцева, почти не разжимая рта.

Громовые перекаты, которые слышала Нелевцева со стороны запада и приняла за удаляющуюся грозу, были первыми разрывами немецкой артиллерийской подготовки.

Здесь, вдали от переднего края, шум начавшегося боя был приглушен. Оглушительный грохот выстрелов Нелевцева услышала, когда стала отвечать немцам наша корпусная артил-

лерия, стоявшая в глубине Фигурной рощи. Снаряды с тяжелым свистом пролетали над медсанбатом. Потом забили зенитки, отражая воздушный налет на тылы дивизии.

В полночь, когда стало, наконец, темно, Нелевцева увидела багровую полосу на горизонте. Эта багровая полоса и была передним краем дивизии. Ракеты падали прямо в этот новый багровый горизонт и, казалось, вылетали оттуда.

Первых раненых привезли утром. Все они говорили одно и то же слово:

— Держимся.

Больше Нелевцева не смотрела на багровую полосу горизонта, видимую теперь даже при свете солнца, и не прислушивалась к шуму боя. Работы было много. Надо было следить и за приемом, и за шоковой палаткой, и за операционной. Когда она услышала, как хирург Творогов, огромный, бритоголовый мужчина, сказал сестре: „Не всех сразу. У меня только две руки. . .“ — она сама встала за операционный стол.

Если бы Виноградов был сейчас в медсанбате и слышал, как все новые и новые раненные говорят одно и то же слово „держимся“, он бы обрадовался самому этому слову, выразившему его план. Но Виноградов был на командном пункте, и, руководя сражением, он знал не только то, что мы держимся, но и действительное соотношение сил.

Коротков работал напротив Виноградова за визеньким столом, к которому кнопками были прикреплены карты, и поминутно отрывался к телефону.

Штаб армии требовал сведений, и Коротков, с лицом, осунувшимся за эти сутки и страшно

помолодевшим, докладывал обстановку. Когда позвонил командующий, Коротков взглянул на Виноградова. Он знал его решение и мог бы сам доложить командующему. Но Коротков понимал, что Виноградову невозможно, чтобы кто-нибудь помимо него самого выразил это решение.

Виноградов взял трубку и, не отвечая на взгляд Короткова, смотря в шифр и, казалось, только им поглощенный, сказал:

— Докладывает Виноградов. Отхожу за овраг.

Затем Виноградов потребовал свою машину и поехал на вторую линию обороны. Машина шла медленно, подпрыгивая на бесчисленных рытвинах и ухабах, и казалась запутавшейся в зеленой маскировочной сетке.

Виноградов, опершись руками на сиденье, думал о том, что сейчас люди на первой линии уже готовятся к отходу, и мысленно торопил их.

В эту ночь раненых было меньше, и они показались Нелевцевой совсем другими людьми, чем те, которые поступали прежде. Они раздражались по пустякам, требовали к себе особого внимания и своими стонами беспокоили других.

— Где ранили да как ранили! — говорил один из раненых, недружелюбно глядя на Нелевцеву. — Отходить стали, — вот и попало. Больно!.. — дернулся он, когда хирург стал осматривать его рану.

Нелевцева видела, что рана его пустяковая, а кричит он не от боли, а от злости.

— Климка! — закричал раненый, увидев знакомого бойца. — Чего отдали немцам?

— Не кричите, пожалуйста, — сказала Нелевцева. — Да, да, не кричите. Вы мешаете

врачу работать. И что значит отдали? — „Что я говорю, — подумала Нелевцева. — Ведь это же раненый“, — но она уже не могла удержаться. — Никто ничего не отдавал. Командир дивизии приказал отойти. Он знает, что делает, и сейчас все воюют за оврагом.

— Эх, доктор! — сказал раненый, отвернувшись от Нелевцевой. — Я там полста немцев покрошил! — Во время операции он не проронил ни слова.

„Вот оно что, — думала Нелевцева, — значит эта злоба только выражение обиды за то, что он ранен, по его мнению, зря, то есть не в тот момент, когда он „крошил“ немцев из своего пулемета. Его не утешит сознание, что надо было отойти на вторую линию обороны и что там истребляют немцев: *он* их не истребляет“.

Виноградов, похвалив начарта Федореева за хорошо организованный огонь прикрытия и узнав, что только один человек убит и раненых немного, кивнул головой и приказал шоферу ехать домой.

В двенадцатом часу ночи Виноградов возвратился на командный пункт в поселок. Он устало вылез из машины и вошел на крылечко.

Неожиданно для себя он увидел Волкова, быстро смахивающего пыль с гимнастерки.

— Товарищ командир дивизии, — сказал Волков чуть хрипло и вытянулся перед Виноградовым, — немцы ввели в бой резервную дивизию и танки, те, что держали правее высотки 23.3.

Виноградов остановился. Он строго посмотрел на Волкова.

— Не врешь?

Коротков, слыша их разговор, вышел на крылечко.

— Точно так, Викентий Николаевич, — сказал он.

— Точно так... точно так... — повторил Виноградов. Затем он быстро обнял Волкова, потом Короткова и осторожно, чуть слышно ступая, словно боясь умалить значение полученного известия, вошел в дом.

Коротков потерял счет дням и часам. О момента немецкого наступления он работал непрерывно и без сна, сохраняя ясность в мыслях. Но счет времени он потерял. Он часто смотрел на часы и рассчитывал, через сколько минут подвезут снаряды и на сколько времени хватит имеющихся, но в отличие от человека, который понимает, что сейчас десять часов утра или восемь часов вечера, Коротков понимал только, что налет нашей авиации начнется через столько-то минут, а за эти минуты надо подготовить наблюдение.

Виноградов редко смотрел на часы, но не только не потерял ощущения времени, а, наоборот, это ощущение у него чрезвычайно обострилось.

Несмотря на то, что удар немцев был огромной силы и в нем принимали участие все средства для успешного прорыва, Виноградов чувствовал себя облегченно по сравнению с днями, предшествовавшими немецкому наступлению. Его предположение о том, что немцы будут наступать на участок его дивизии, стало теперь фактом.

Он всегда считал, что наступление на его дивизию ошибочно для немцев, — теперь выяснилось сражение, исход которого должен был подтвердить или опровергнуть это убеждение.

Ничего нового в тактике немцев Виноградов не увидел. Сосредоточив потребительный огонь предельного напряжения на узком участке фронта, немцы атаковали дивизию и, не считаясь с потерями, непрерывно вводили в бой новые цепи атакующих. Это походило на таран, осуществляющий вторжение любой ценой.

Соотношение сил было примерно 3:1 в пользу немцев, но дивизия держалась и настроение людей было хорошим потому, что они видели непосредственные результаты своей работы: убитых немцев и обломки их всевозможного оружия.

Виноградов тоже видел, что немцы не могут прорвать передний край дивизии, но он видел также, что немецкий таран не ослабевает. Ослабить таран можно было, только изменив соотношение сил в нашу пользу. И тогда Виноградов приказал отходить за овраг на вторую линию обороны. Сразу же вслед за этим немцы ввели резервы и хотя, по мнению Виноградова, допустили тем самым новую ошибку, но соотношение сил было попрежнему в их пользу.

В дивизии было немало людей, считавших, что поскольку немцы не добились успеха за эти четыре дня, то есть не захватили поселка и железной дороги, то и в дальнейшем они ничего не добьются. Виноградов был с этим не согласен.

Суть дела, по мнению Виноградова, заключалась в том, что немецкий таран продолжал

действовать. Продолжал действовать, несмотря на ошибки немцев.

— Несмотря на ошибки... несмотря на ошибки... — сказал Виноградов вслух. — Нет... ничего... — отвечал Виноградов на удивленный взгляд Короткова.

„Несмотря на ошибки... — думал Виноградов, оставшись один. — Несмотря на ошибки...“

Он повторял эту фразу, словно уцепившись за что-то очень важное, что может дать новый ход его мыслям, но получалось только одно: несмотря на ошибки, которые допустили немцы, они еще достаточно сильны. Виноградов с силой постучал кулаком по лбу, как будто этим движением хотел помочь рождению новой мысли.

— Может, найдется какой кусочек красной материи? — слышал он голос в соседней комнате.

„О чем это они? А, это Кочкуров, председатель совета. У них уже дважды флаг сбивали, а они все новый ставят“.

Какие же это были ошибки? Во-первых, немцы итурмовали Виноградовскую дивизию, посчитав ее за слабое звено фронта. Во-вторых, немцы решили, что отход дивизии за овраг наилучший момент, чтобы покончить с ней, и ввели в бой резервы. Но ведь именно поэтому дивизия сохраняет свою боеспособность. Нельзя сказать: несмотря на ошибки. Надо сказать: благодаря этим ошибкам.

Значит, ошибки немцев были вынужденными? Они вынуждены были ударить по Виноградовской дивизии, иначе Виноградов окреп бы настолько, что сам бы ударил по немцам; они вынуждены были ввести в бой резервы, по-

тому что отход на вторую линию менял соотношение сил не в их пользу.

Он крикнул адъютанта.

— Начальника штаба ко мне! Быстро!

Он объяснил Короткову свой план, затем, вырвав листок из блокнота, чиркнул несколько слов и дал его Короткову.

— Майору Бобычеву. Проследишь за исполнением!

К вечеру четвертого дня немецкого наступления части дивизии получили приказ Виноградова отойти к железнодорожной насыпи. Командный пункт командира дивизии был соответственно с этим перенесен в вырытый в глубине поселка блиндаж.

— Товарищ генерал-майор, — говорил адъютант, беспокоясь за Виноградова, — очень прошу вас войти в блиндаж.

Виноградов молча покачал головой. Он стоял у входа в свой блиндаж, накинув на плечи шинель. Командиры подбегали к нему и коротко рапортовали о благополучном движении людей и об их устройстве на третьей линии обороны.

— Хорошо, — каждому из них говорил Виноградов. — Иди к людям! — Его сосредоточенное лицо, освещенное белой ночью, было ясно видно.

Один из командиров добавил:

— Интересно, товарищ генерал-майор, мы уже здесь, а немцы по оврагу колотят, — и он засмеялся, довольный, что так незаметно отвел своих людей.

— Хорошо, хорошо, — сказал Виноградов. — Иди к людям!

Немцы, действительно, еще какое-то время били по прежним целям, затем разом все



бмолкло. Виноградов стоял не двигаясь, как влитый в землю. Пролетел немецкий самолет и сбросил осветительную бомбу, не нарушив сумерек.

Вдруг медленная судорога пробежала по земле, и сразу же за ней земля застонала, во многих местах поднятая на воздух враждебной силой.

Виноградов вынул из кармана платок и вытер испарину с лица.

С того момента, когда он понял, что немцы будут вынуждены совершить новую ошибку, потому что в течение четырех суток не разгромили дивизии, он находился в состоянии напряженного ожидания.

Теперь, убедившись, что немцы сделали новую ошибку и бросили остатки штурмовых сил на третью линию его обороны, он стал думать о реальной победе над немцами.

Как летом на севере немеркнущий свет изменяет обычное представление о дне и ночи, так война изменила обычную жизнь человека, не оставив ему безопасных минут. Но с каждым новым оборотом войны Виноградов чувствовал, как приближается решительная минута, решительным мгновением было бы правильнее назвать то, что должно было наступить.

— Товарищ генерал-майор, — сказал адъютант, выходя из блиндажа. — Вас к телефону.

— Что? — спросил Виноградов, по лицу адъютанта угадывая что-то недоброе.

— Нет, вы сами, товарищ генерал-майор, — сказал адъютант.

Виноградов спустился в блиндаж, взял трубку.

— Да ты врешь! — закричал он, стукнув кулаком по столу.

— Подполковник Коротков ранен, — повторил ординарец начальника штаба. — В спину навыллет, товарищ генерал-майор.

Виноградов сел в машину с таким выражением на лице, словно задохнулся в тот момент, когда узнал о ранении Короткова. Весь путь в Фигурную рощу, где находился медсанбат, он промолчал. Выйдя из машины, сразу увидел Нелевцеву, бегущую ему навстречу.

— Жив? — спросил Виноградов.

— Да, но... — Она с трудом поспежала за командиром дивизии. — Направо в палатке, товарищ генерал-майор! — крикнула она ему вслед.

Виноградов медленно, словно колеблясь, приоткрыл тяжелую полотняную дверь, увидел Короткова, лежавшего на глубоководных носилках, и шагнул к нему. Нелевцева подала табуретку.

Коротков, накрытый до плеч большой белой простыней, лежал неподвижно, напряженно вытянувшись, и казался от этого длиннее и тоньше. Виноградов заметил поверх простыни его пальцы, стиснутые в кулаки.

В палатке, залитой ярким электрическим светом, шла послеоперационная суета, — сестры сбрасывали окровавленные бинты и марлю в большое эмалированное ведро, дезинфицировали инструмент и убирали в стеклянный шкаф, накрывали чистой клеенкой столы, но Виноградов видел только лицо Короткова.

Лицо еще живого Короткова говорило, что все уже кончено, и это было страшнее чем смерть.

Виноградов опустил голову.

В это время в палатку вошел запыленный и грязный связной.

— Товарищ генерал-майор, — громко сказал связной. Нелевцева кинулась к нему, загораживая не то Виноградова, не то Короткова. Он отодвинул Нелевцеву.

— От командира полка майора Бобычева, — доложил связной и протянул Виноградову конверт.

Виноградов, быстро взглянув на Короткова, вскрыл конверт. Командир полка доносил, что два часа назад по приказу Виноградова, переданному начальником штаба дивизии, два завода третьей роты совершили вылазку на левом фланге, чем расстроили боевые порядки немцев. „Немцы в количестве до батальона, — писал Бобычев, — отступили на исходные к началу боя позиции, и группа продолжает движение, о чем доношу и прошу ваших указаний“.

Виноградов встал.

— Викентий Николаевич, — сказал вдруг Коротков отчетливо.

— Я сейчас вернусь, Григорий Иванович, — ответил Виноградов обыкновенным голосом и быстро вышел из палатки.

— Где у вас связь? — спросил он какую-то девушку с заплаканным лицом.

Девушка провела Виноградова к веранде с разноцветными окнами. Он вызвал к телефону Егорушкина.

— Говорит Виноградов. Поднимай хозяйство.

Затем он, с необычной для себя торопливостью, поспешил обратно. Он спешил, чтобы успеть вернуться к еще живому Короткову и сказать ему об известии, которое считал самым важным с того дня, как началось немецкое наступление.

Несколько сот немцев дрогнули от удара небольшой группы нашей пехоты, дрогнули по-

тому, что немецкий таран ослаб и стал чувствителен к новой силе, на него воздействующей.

У Виноградова было такое чувство, как будто он долго сдерживался, а сейчас открыл занавеску и увидел то, что так сильно хотел увидеть. Только это известие позволило Виноградову отдать приказ резерву дивизии — полку Егорушкина — выступить и решить бой.

Он все с той же торопливостью вошел в палатку, но, войдя, ничего не сказал.

За эти несколько минут лицо Короткова стало совсем белым и удивительно тонким. Глаза его ничего не выражали, но взгляд был упорно устремлен в одну точку, и казалось, что этим сосредоточенным взглядом он удерживает исчезающую жизнь.

Виноградов тихо, словно не желая мешать этому взгляду, снова сел рядом с Коротковым.

В палатку уже доносились мерный гул людей на марше и железное ляганье танков.

— Пошли... — медленно сказал Коротков, не отрывая взгляда от невидимой точки, и не закончил фразы. Пальцы его вдруг разжались и в последнем движении облегченно вытянулись на простыне.

Но Виноградов понял и это слово и то, чего не договорил Коротков.

Он встал, наклонился к Короткову, молча дотронулся до его плеч и вышел из палатки, плотно прикрыв тяжелую полотняную дверь.

В голубоватой дымке рассвета он увидел строй красноармейцев, выходящих из Фигурной рощи. Люди шли в бой.

## Алексей Абатуров

Абатуров проснулся, но лежал тихо и не открывал глаз, стараясь продлить виденный сон.

Когда Абатуров убедился, что ему не заснуть, он попытался вспомнить удивительные события, которыми, как ему казалось, сон был переполнен.

Он помнил, что видел во сне жену. Какой же она приснилась ему?

Веселой и доверчивой, как в их первую встречу, или неожиданно ставшей чужой перед тем, как стать самой близкой, или по-домашнему уверенной, или серьезной и настороженной, как при их расставании?

Пришел ли он к ней и тихо сел рядом, или здесь, на войне, появилась она, или, подчиняясь сну, оба явились в незнакомый им край свиданий?

Словно в солнечный полдень шел по нетронутому снегу, и вдруг твой след исчез. Но долго еще взволнована душа памятью о чистом и ярком бескрайнем снеге.

Зазуммерил телефон, Абатуров схватил трубку и еще хриплым от сна голосом назвал свои позывные. Лицо его стало внимательным.

— Володя, собираться! — крикнул он ординарцу и снова взялся за трубку. — Дайте Лобовикова. Комиссар? — (Абатуров по старой привычке называл заместителя по политической части комиссаром.) — Меня вызывает хозяин. Останешься за меня!

Ординарец Абатурова Володя Бухарцев, весьма тщательно относящийся к своей наружности, успел переодеть португею с гимнастерки на шинель и провести бархаткой по сапогам. За поясом у него блеснул белый немецкий парабеллум, в руках он держал красивую плеть.

— Готовность, товарищ капитан!

Абатуров уже вышел из землянки, когда к нему подбежал командир роты Бояринов.

— Разрешите обратиться, товарищ капитан? — Абатуров кивнул головой. — Мой радист перехватил немецкую рацию. Грачи помощи просят. Хильфе да хильфе в эфире, товарищ капитан!

— Хорошо, — сказал Абатуров, — не слезайте с его волны. Когда вернусь — доложишь. — Он заметил вопросительный взгляд Бояринова. — Командир полка вызывает.

— Не забудьте о первой роте! — воскликнул Бояринов. — Народ у меня мокрый и злой. Люди желают сушиться в Грачах, товарищ капитан, — прокричал он уже вслед Абатурову.

Бояринов — самый молодой офицер в батальоне — был любимцем Абатурова и не только потому, что первая рота по праву считалась лучшей и в учебе и в бою. Нравился сам

Бояринов, русский, чуть заикающийся (след недавней контузии) парень, его сосредоточенное и вместе с тем мальчишеское лицо.

Когда стояли в обороне, Абатуров часто вызывал к себе лейтенанта, и они играли в шахматы и разговаривали о жизни.

Сейчас, во время наступления, было не до разговоров. Но, быть может, более чем когда-либо Абатуров чувствовал потребность поговорить, поделиться новыми своими мыслями.

Палал рыхлый, слякотный снег, оседавший на лице мокрыми хлопьями. Желтые проталины расползались под ногами.

— Называется январь, — заметил Бухарцев. — Война действует на природу, — добавил он глубокомысленно.

Они шли по редкому, вырубленному лесу. Вчера Абатуровский батальон, обойдя немцев с юга, выбил их отсюда, в то время как два других батальона полка наступали с севера, запада и востока. Немцы бежали в Грачи, давно укрепленное ими большое село с сильным гарнизоном. Но два других батальона, наступавших на Грачи с северо-запада и с востока, замкнули вокруг немцев кольцо.

Дойдя до поднимавшейся вверх к Грачам дороги, Абатуров остановился и закурил. Там, на холмах, уже ступили сумерки, и казалось, что серая пелена спускается вниз по дороге. Очертаний строений не было видно, но Абатуров угадывал вдали здравницу, церковь, кирпичный завод.

— Пошли, пошли, — сказал он ординарцу.

Весь путь к штабу полка Абатуров мысленно представлял себе село таким, каким он его видел

раньше. Грачи! Чего только в жизни не бывает! И вот судьба бросила его снова сюда.

... В июле 1941 года жена написала Абатурову, что едет на оборонные работы в Грачи. Тогда это показалось ему счастливым предзнаменованием. В Грачах провели они с женой памятные, первые дни общей жизни.

Через неделю после этого письма Грачи были заняты немцами. Спасти удалось немногим. Ольги среди них не было.

Удар, обрушившийся на Абатурова два с половиной года назад, не сломил его. Но душевное равновесие или, вернее сказать, необходимое для жизни сосредоточение всех сил он находил только в бою. Мучительнее всего бывали для него дни вынужденной бездеятельности, чередующейся на фронте с боями.

С четырнадцатого января, с того дня, как началось ленинградское наступление, он все время находился в приподнятом состоянии духа.

Абатуров сам еще не разобрался в новом возникшем у него чувстве и не мог его объяснить, так же как не мог объяснить сегодняшней сон и легкую радость, которую он испытал проснувшись.

Словно величайшее напряжение и ожесточенность сражения приоткрыли перед Абатуровым будущее, и в его неторопливом расвете он увидел самого себя и какую-то новую возможность жить.

Абатуров подумал о Бояринове и, представив себе его мальчишеское лицо, улыбнулся. Разве можно доверить ему свои новые и еще сбивчивые мысли?

Когда Абатуров и Бухарцев дошли до де-



ревни, в которой помещался штаб полка, было уже совершенно темно. Они долго разыскивали какую-нибудь уцелевшую избу и, наконец, услышав стук пишущей машинки, пошли на него.

Перешагнув поваленный плетень, увидели фигуру часового у полусгнившего крыльца штабной избы.

В переполненной людьми комнате было душно. За одним столом работали начальники отделов, за другим — писаря подклеивали к картам новые куски. В красном углу сидела машинистка — пожилая женщина с нашивками ефрейтора на погонах и, скосив опухшие от бессонницы глаза на ворох бумаг, с ожесточением била по клавиатуре.

Абатуров поздоровался с оперативным дежурным, и тот, усмехнувшись, сказал:

— Досрочно сегодня комбаты собираются.

В это время Абатурова окликнули, и он, обернувшись, увидел комбата-2 Крутоярова. Они обрадовались друг другу и обнялись, словно давно не виделись.

— Пойдем отсюда, — предложил Абатуров. — Здесь и без нас тесно. — Они вышли и, обойдя избу, присели на завалинке. Крутояров вытащил трубку, Абатуров — папиросы. Молча закурили.

Знакомы они были давно, друзьями стали с первых дней войны, когда оба командовали взводами в первом (ныне Абатуровском) батальоне. Сблизило их и военное дело, сблизило и то, что у каждого на душе было тяжелое горе.

— Ты думаешь, сразу после совещания будет операция? — спросил Абатуров.

— Зачем же нас сам тогда вызывает?

— И я так думаю, — сказал Абатуров. — Ты знаешь, Саша, я не люблю вылезать, но сегодня буду просить самого, чтобы я... чтобы мой батальон...

Крутойяров сильно затащился. Огонек в трубке осветил его лицо, удивленно приподнятые брови.

— Ты что? Будто не понимаешь? — спросил Абатуров.

Крутойяров о минуту помолчал.

— Я идиот, — сказал он и выколотил трубку о стену избы. — Ведь мы под Грачами! У меня, Леша, название из головы выскочило. Да, ты прав. Это твое. И я буду вместе с тобой просить за тебя командира полка, — прибавил он веско

— Спасибо, Саша, — сказал Абатуров. — У меня последние дни на душе совсем необыкновенно. Знаешь, когда в наступлении — всегда веселее, а в это наступление как-то по-особому... — Абатуров зашнуровался и посмотрел на Крутойярова, как будто именно друг должен был найти верные слова. Но Крутойяров молчал.

„Как бы ему объяснить?..“ — подумал Абатуров.

— Вот послушай, — продолжал он, — сегодня днем я заснул. И мне приснилась Ольга. Такая, как... Ну, такая, как... Помнишь... ты первый раз к нам пришел, и она тебе понравилась, а я так гордился ею. Вот такая она мне снилась, — сочинял свой сон Абатуров. — Когда проснулся, пять минут, десять, — не знаю, сколько, — как-то радостно было.

— Ты все надеешься, — сказал Крутойяров.

— Это что — плохо?

— Не знаю там, плохо или нет, но только я тебе на этой дорожке не попутчик. Я знаю, что Тоню убили немцы и Наташу убили немцы — (он говорил о жене и дочери). — Мое дело воевать, а не радоваться! — крикнул Крутойяров. — Убивать немцев! И мне не снятся блаженные сны.

Абатурову уже было ясно, что друг не понял его, но, вместо того чтобы оборвать этот разговор, ему захотелось спорить, доказывать что-то свое, даже зная, что он причиняет боль Крутойярову. Но он не успел ничего сказать.

— Какая там радость, — снова быстро и горячо заговорил Крутойяров. — Только злоба здесь! — Он ткнул себя в грудь.

Их глаза привыкли к темноте, и они различали друг друга. Абатуров видел, что Крутойяров стал поспешно набивать трубку.

— Да, злоба, — сказал Абатуров медленно, словно прислушиваясь к своим словам. — А ты думал о том, какая будет радость, когда на нашей земле ни одного немца не останется? — спросил он Крутойярова и, не дождавшись ответа, сказал: — Я тоже думал. И все равно у меня останется злоба к немцам. И когда всю Германию пройдем, все равно злоба будет. И даже после войны. А радость будет полная, совершенная, что ли. Радость не исчезла. Она во мне самом. — („Вот он, мой сон“, подумал Абатуров).

Набив трубку, Крутойяров снова закурил.

— Я наверно умру после войны, — сказал он и встал. Абатуров тоже встал.

Через несколько минут в черной бане, где остановился командир полка, началось совещание.

Начальник штаба зачитал приказ командира дивизии, в котором отмечалось умение личного состава полка, окружившего немецкий гарнизон в Грачах, и ставилась новая задача: полку, в составе двух батальонов, продолжать преследование отступающего на запад противника (задача общая для всей дивизии), первому батальону, батальону Абатурова, овладеть населенным пунктом Грачи.

С первых же слов приказа Абатуров почувствовал удивительное спокойствие. Он слушал приказ так, словно и раньше знал его и теперь заинтересован только тем, сколько у него будет тяжелой и противотанковой артиллерии, и тем, что батальону придаются танки и „катюши“.

Командир полка приказал немедленно приступить к смене боевых порядков. Абатуров встал вместе со всеми и, хотя чувствовал, что все взгляды обращены на него, не смог изменить выражение своего лица, казавшегося сейчас холодным и даже надменным. Командир полка подозвал его.

— Ну что, доволен?

— Будет исполнено, товарищ полковник, — сказал Абатуров.

Командир полка засмеялся: Абатуров отвечал невпопад.

Абатуров зашел в штабную избу, крикнул Бухарцева. Здесь все уже пришло в движение. Писаря сворачивали карты, машинистка, уложив в ящик машинку, стояла наготове, ожидая сигнала грузиться; два красноармейца сматывали связь.

— Поздравляю, поздравляю! — крикнул на ходу Абатурову оперативный дежурный.

На мгновение Абатурову стало грустно, как всегда бывает перед переменой жизни, даже когда перемена сулит лучшее.

Бухарцев был уже в курсе дела.

— Где ж теперь КП будет? — спросил он.

— На прежнем месте, — отвечал Абатуров. И, думая вслух, сказал: — Туда и Верестов придет и танкисты.

— Майор Верестов? — осведомился Бухарцев, делая ударение на слове майор.

— Ну да, командовать артиллерией.

— В подчинение к нам? — В голосе Бухарцева чувствовалась едва сдерживаемая гордость. — А танки какие?

— КВ.

— Годится! — одобрительно заметил Бухарцев.

К ним подошел Крутойяров.

— Вот и сбылась твоя мечта, — сказал он, как показалось Абатурову, сухо.

— Послушай, — сказал Абатуров, — наш разговор... — Он чувствовал, что говорит словно извиняясь, и стыдился этого.

Крутойяров прервал его.

— Нет, ты, наверное прав, — сказал он. — Для себя. Ну... ни пуха, ни пера! Желаю тебе в Грачах найти жену.

Той же дорогой Абатуров и Бухарцев возвращались в батальон. Лунный свет словно прибрал растрепанное оттепелью поле. Воздух еще оставался прелым, но знобящая, невинная мокрота исчезла. Небо было спокойно и глубоко, и оттуда, из великолепной этой черно-золотой глубины, веяло желанным холодом.

Армия наступала. Огромные массы людей находились в непрерывном движении на запад. И лишь батальон, которым командовал Абатуров, уже четыре дня в этом движении не участвовал.

Эти четыре дня Абатуров трудился не только над тем, чтобы подорвать силы Грачей, но и над тем, чтобы противостоять возможному прорыву немцев с юга на помощь осажденным.

Тайно от немцев шло строительство траншей и щелей, в специальных укрытиях устанавливались противотанковые ружья и пушки фронтом на юг.

Абатуров знал, что люди в душе не сочувствуют этому строительству, словно возвращающему их к пережитым долгим дням обороны. Но он оставался верен своему плану.

Казалось, сама жизнь опровергает Абатуровский план: за четыре дня осады немцы не только не сделали попыток помочь Грачам, но было очевидно, что осажденный гарнизон не ждет помощи извне. Ежедневно немцы предпринимали попытки вырваться из Грачей. Но Абатуров продолжал требовать от людей своего батальона самого тщательного выполнения намеченной им обороны.

Сейчас он был похож на полевода, в последний раз проверяющего зрелость колоса с тем, чтобы его тяжелый труд был вознагражден обильным урожаем, и задавал себе один вопрос: неужели именно здесь, под Грачами, он совершит ошибку и своей волей задержит взятие Грачей, упустив мгновение, которого ждал два с половиной года?

Абатуров находился в своей землянке, когда вошел Лобовиков. По озабоченному лицу заместителя Абатуров догадался, что случилось нечто необычное.

— Что, комиссар? — спросил Абатуров.

— Алексей Петрович, — взволнованно доложил Лобовиков, — немец, перебежчик из Грачей. Как прикажешь?

— Немедленно ко мне.

Лобовиков открыл дверь, и Абатуров увидел старшего сержанта Яковлева в буром от болотной грязи, обледенелом маскхалате и за ним немца в башлыке, спущенном на уши поверх солдатского кепи. Руки немец держал в карманах своей, тоже ставшей бурой, шинели. Лицо его было до крайности утомленным и во многих местах поцарапанным. За немцем следовал автоматчик, фамилии которого Абатуров не помнил.

— Расскажите, Яковлев, как было дело, — обратился Абатуров к сержанту.

— А, значит, так, — начал Яковлев. — Отделение было в секрете. Тишина, и никто не курит, товарищ капитан. Вдруг кто-то царапается. В общем, шорох. По слуху — пушной зверь, но понимаем, что кроме немца быть никого не может. Принимаю решение, так как имеется ваш приказ, чтобы „языка“ взять, и совесть имею — за четверо суток ни одного живого немца, одни мертвые. Приняв решение, ползу в чашу. Но шуму не делаю. Слышу шорох и к земле прижимаюсь. Опять ползу. Опять слышу шорох. И вот он идет. Руки подняты, а идет. Его лес по морде хлещет, а он мне навстречу идет, и руки подняты. Ну, я личное оружие вскинул. Он шаг сделал, остановился, и слышу его голос: „Русс, не

стреляй русс, не стреляй, я к тебе иду". Говорю шопотом: „Подходи, не буду стрелять. Только смотри ежели что“. Подошел. Командую: „Ложись!“ Ложится. Командую: „Ползи до меня!“ Ползет до меня. Ползу до секрета, он впереди меня. Ну, в секрете я его обыскал. В карманах ни соринки, товарищ капитан. А он лицо закрыл, плачет, потом говорит: „Я к тебе, русс, шел, помни это, русс“. Я приказ помню — разговору с ним не веду. Иду на КП, товарищ капитан, за себя оставляю Чукалова. Хороший паренек, товарищ капитан. Вы ему под Синявино младшего сержанта присвоили. Он...

— Довольно, довольно, Яковлев, — прервал его Абатуров. — Благодарю и не забуду.

— Можно быть свободным? — спросил сержант.

— Можно. И вы тоже идите, — сказал он автоматчику. Когда все вышли, он обратился к Лобовикову: — Допрашивай, я послушаю.

Лобовиков кивнул головой и быстро спросил перебежчика:

— По-русски говорить можете?

— По-русски не говорю, — сказал немец. Он говорил тихо, с усилием произнося каждое слово.

— Ну, что ж, будем говорить по-немецки, — вздохнул Лобовиков. — Имя, фамилия?

— Ганс Рехт.

— Часть?

— Первая рота второго батальона двадцать седьмого пехотного полка тридцать седьмой пехотной дивизии.

Лобовиков взглянул на Абатурова. Номер части был правилен.



— Воинское звание?

— Солдат.

— Сколько лет служите?

— Три года.

— Даже до ефрейтора не дослужились? —  
вмешался Абатуров. Немец пожал плечами.

— Продолжай, — сказал Абатуров Лобови-  
кову.

— При каких обстоятельствах были взяты  
в плен?

На лице немца выразилось удивление.

— Плен? Я не был взят в плен. Я пере-  
шел на вашу сторону добровольно.

— Чем вы можете это доказать?

— Я шел в плен, — повторил немец. — Шел  
без оружия, руки вверх. — Он поднял руки,  
как бы показывая, как он шел, но покачнулся  
и чуть не упал.

— Вы больны, ранены?

— Нет, я... я хочу есть. — И поднял на  
Абатурова безумные голодные глаза.

Абатуров снял с полки миску с холодной  
кашей и дал немцу. Тот, схватив миску и не  
спрашивая ложки, стал пальцами хватать кашу,  
шумно глотая куски и облизывая пальцы.  
Съев кашу, он вытер пальцы о полы шинели.

— Что ж, вас голод пригнал? — продолжал  
допрос Лобовиков.

— И голод. Да.

— Почему? Разве в Грачах нет запасов еды?

— Нет.

— Но ваше командование не только не  
собирается капитулировать, но ежедневно пы-  
тается вырваться.

— Это попытки отчаяния, — заговорил немец.  
После еды голос его окреп. — Положение

гарнизона безнадежно. Как только начнете штурм, мы будем принуждены сдаться... Или нас всех истребят. Я это предвидел и, понимая наше положение, решил избежать такого конца. Вот почему я здесь. Меня отправят в тыл?

— Спешите, — сказал Абатуров. — Разве Грачи не ждут помощи с юга?

— Помощи? — переспросил немец. — Помощи? — Он засмеялся неприятным, отрывистым смехом, от которого желтое лицо его чуть покраснело. — Нас давно предоставили собственным силам.

— Откуда вы это знаете? — живо спросил Лобовиков.

— О!.. Комендант обратился к нам с приказом — там все сказано.

— На что же надеется ваш комендант?

— Комендант в этом приказе, — охотно рассказывал немец, — призывает прорываться энергичнее.

— Но ведь уже были попытки.

— Да, три. Но четвертая будет энергичней. Гарнизон прорвется.

Абатуров жестом остановил Лобовикова.

— Обязательно прорвется? — спросил он.

— Это не я так думаю, — сказал немец и насунил. — Если бы я так думал, я бы сейчас сидел в своей траншее, а не здесь.

— Так думает комендант? — Немец молчал. — Что говорят офицеры?

— Офицеры говорят, — немец прямо смотрел в глаза Абатурову, — если до завтра не будет штурма, — прорвемся, несмотря ни на какие жертвы. — Абатуров тоже смотрел немцу прямо в глаза. Немец снова засмеялся. — Ну, меня это не касается. Я уже не жертва.

— По-моему все, — сказал Абатуров Лобовикову.

— Разреши, я еще один вопрос. Довольно смеяться! — крикнул он немцу. — Русские в Грачах есть? Или вы их всех...

Немец перестал смеяться, и Абатуров заметил, как на его лице появилось выражение тупого равнодушия.

— Русские женщины и дети есть, — сказал немец, — но я слышал от офицеров, что всех русских перебьют завтра, перед тем как будут прорываться.

Лобовиков встал, ругаясь и проклиная немцев. Абатуров молчал.

— Как фамилия автоматчика, что за немцем шел? — спросил, наконец, Абатуров Лобовикова. — Что за человек?

— Осокин его фамилия, — отвечал Лобовиков, — комсорг третьей роты. Я за него ручаюсь.

Абатуров подошел к двери и крикнул автоматчика.

— Товарищ Осокин, заберите перебежчика, отведите его в землянку, и чтобы никаких происшествий. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан, — отвечал Осокин.

Оставшись один на один с Лобовиковым, Абатуров спросил:

— Твое мнение?

— Рассуждая логически, немец как немец. Ни во что он не верит — ни в бога, ни в фюрера — и во всяком случае не ждет чуда, которое могло бы спасти Грачи. То, что он говорит, похоже на правду: помощи не ждут, будут прорываться. Но... Но ни единому слову этого немца я не верю, — неожиданно закончил Лобовиков.

— Не веришь? — переспросил Абатуров.

— Не верю и не верю... И не давать им вырваться!— крикнул Лобовиков.

— Да мы и не дадим им вырваться,— сказал Абатуров спокойно.— Мы овладеем Грачами, возьмем штурмом. Только мы будем штурмовать Грачи, когда *мы* этого захотим.

— Разумеется,— сказал Лобовиков, не понимая многозначительного тона Абатурова.

— Так вот. Прежде всего требую выполнить мой приказ и достать „языка“.

— А сейчас что же?— удивился Лобовиков.— Не „языка“ мы с тобой допрашивали?

— Это перебежчик, а мне нужен пленный,— холодно сказал Абатуров.— Поручаю тебе, Григорий Иванович, подбери людей, тяжелым дивизионом навались по немецкой траншее, по тому участку, где перебежчика взяли, затем бросок,— ползвода я разрешаю,— и чтобы „язык“ был здесь, у меня... Через два часа.

Через два часа после допроса перебежчика перед Абатуровым стоял пленный немец, и заводный рассказывал, как было дело.

— Все больше мертвяки, один пулеметчик живой. Его и взяли.

— Военский документ на имя ефрейтора Фердинанда Гольца,— заметил Лобовиков, роясь в вещах, отобранных у пленного.— Все остальное барахло и ни к чему. Это вы и есть Фердинанд Гольц?— спросил он пленного.

— Я Фердинанд Гольц,— сказал пленный. Заложив руки за спину, он угрюмо горбился, взгляд его был испуган. При всем этом пленный казался здоровее перебежчика: черты лица были не так заострены и цвет кожи не был таким желтым.

— Номер части?

— Пулеметный завод первой роты второго батальона двадцать седьмого пехотного полка тридцать седьмой пехотной дивизии, — отвечал немец без запинки.

Абатуров и Лобовиков переглянулись.

— Есть хотите? — спросил Абатуров.

Пленный смотрел на него исподлобья. Видно было, что он недоумевал. Недоверие и жадность боролись в нем.

— Да. Хочу есть, — сказал немец.

Абатуров наполнил пустую миску кашей и дал ее в руки немцу. Немец взял миску, но был в заметной нерешительности.

— Что, ложку? — спросил Абатуров.

— Если разрешите, — сказал немец. И снова в его глазах Абатуров увидел недоверие. Он дал ему ложку, и немец, прижав тарелку к груди и еще ниже опустив голову, стал есть.

— В гарнизоне голод? — спросил Абатуров.

— Нормы сокращены, — отвечал пленный.

— Я спрашиваю — голод? Отвечайте правду. У нас есть данные о вашем положении в Грачах. Врать бесполезно.

— Еще не голод, — повторил пленный. — Нормы сокращены.

— Сколько же может продержаться гарнизон?

— Не знаю. Это знают наши офицеры. Я говорю правду. Я не знаю.

— Так положение Грачей безнадежно? — спросил Абатуров, как будто речь и ранее шла об этом.

Немец задумался.

— Когда нас окружили, я подумал, что все очень плохо. Но в приказе коменданта сказано, что это не так.

— А как? — спросил Абатуров. — Ожидаете помощи? — Немец кивнул головой. — Это что значит? — закричал Абатуров. — Вы что головой качаете? Вы на допросе и ведите себя как полагается пленному! Ожидаете помощи?

— Да, — быстро сказал немец. — Прорываться для нас губительно — теряем людей, технику.

— Когда ждете помощи? — спросил Абатуров.

— Не знаю. — Немец поймал взгляд Абатурова. — Не знаю. Я ничего не знаю. Скоро придет помощь, сказано в приказе.

— Я сейчас вернусь, — сказал Лобовикову Абатуров и вышел из землянки. В землянку он вернулся вместе с перебежчиком. Пленный стоял к ним спиной, и Абатуров слегка подтолкнул перебежчика. Едва только пленный увидел его, как миска выпала из его рук.

— Господин обер-лейтенант! — воскликнул он, инстинктивно выпрямляясь.

Перебежчик взглянул на него с ненавистью.

— Дурак! — крикнул он.

Абатуров и Лобовиков молча наблюдали за ними.

— Господин обер-лейтенант... — тихо повторил пленный.

Перебежчик еще раз громко крикнул:

— Дурак! Дурак!

— Отставить, — медленно сказал Абатуров. — Повторите, что вы говорили о приказе коменданта, — обратился он к пленному.

— Комендант приказал дожидаться помощи. Помощь придет очень скоро, — сказал пленный. Глаза его перебегали с Абатурова на перебежчика, в котором он признал начальство.

Перебежчик внимательно слушал пленного немца. Когда тот кончил, он придвинул к себе стул и сел.

— Это сумасшедший, — сказал он прерывательно и, пожав плечами, добавил: — Результат осады.

— Встать! — крикнул Абатуров. — Как вас зовут?

Перебежчик встал. — Я все сказал.

— Как его зовут? — спросил Абатуров у пленного.

— Обер-лейтенант Вирт.

Вирт стоял молча. Желтое его лицо снова стало тупо-равнодушным.

— Я кликну Осокина, — предложил Лобовиков, — не нужны они нам больше.

— Да, да, — согласился Абатуров.

Они снова остались одни.

— Игра стояла свеч, — взволнованно заметил Лобовиков. — Значит, немцы отдали офицера для того, чтобы неправильно информировать нас. Они хотят во что бы то ни стало, чтобы мы штурмовали. . . — (Он посмотрел на часы — был первый час ночи) — сегодня! Но ты трижды прав, Алексей Петрович, ты трижды прав, мы будем их штурмовать тогда, когда мы этого захотим.

— Да, — сказал Абатуров, — мы будем их штурмовать *сегодня*.

— Ты что говоришь, Абатуров? — изумился Лобовиков. — Этого же хотят немцы!

— Этого хочу я, — сказал Абатуров. — Слушай, Григорий Иванович, ты умеешь писать ультиматумы?

— Не знаю, — сказал Лобовиков. — Не пробовал.

— Самое время учиться. Садись, бери перо в руки. Пиши: „Ультиматум. Коменданту немецкого горнизона Грачи. Ваше положение безнадежно. Предлагаю вам прекратить сопротивление и сложить оружие на условии сохранения жизни офицерскому и рядовому составу гарнизона. В противном случае будете истреблены. Срок ультиматума истекает в 8.00. Командир части Абатуров“. На машинке было бы лучше напечатать, — вздохнул Абатуров. — Документ. Ну да ничего. Разберут!

Затем Абатуров вызвал по телефону начальника артиллерии Верестова, командира приданных батальону танков Бороздина и командиров рот.

— Если немцы не подчинятся нашему ультиматуму, боевая операция начнется утром, в восемь ноль ноль, — сказал Абатуров, открывая совещание, и изложил свой план.

### III

В эту ночь никто не ложился спать. Несмотря на то, что подготовка к предстоящему сражению была закончена, у каждого находилось еще что-нибудь, что казалось необходимым сделать в эту ночь.

После ночного совещания рота Бояринова разместилась по траншеям и щелям оборонительной линии, выстроенной за эти дни и обращенной фронтом на юг.

Вторая рота сосредоточилась на тех местах, где вчера были захвачены перебежчик и „язык“.

Роте было приказано, в случае отказа немцев подчиниться условиям ультиматума, атаковать



немцев в Грачах, тем самым отвлекая их силы от направления главного нашего удара.

Главный удар должна была нанести с севера третья рота при поддержке мощных танков Бороzdина.

— Я буду во второй роте, — сказал Лобовиков Абатурову.

— Правильно, — одобрил Абатуров. — Там будет не легко. — Он вынул часы. — Сверимся. У меня без пятнадцати семь.

— Точно, — подтвердил Лобовиков и, аккуратно застегнув свой полубубок, попрощался. Выходя, он встретился с Бояриновым.

Абатуров заметил, что они улыбнулись друг другу особой улыбкой людей посвященных и знающих, что в том деле, которое предстоит, они оба будут играть немаловажную роль.

— Ну что, не светает? — спросил Абатуров.

— Не имеет права светать, — отвечал Бояринов. — Согласно приказу положено светать в восемь ноль ноль.

— Завтракал?

— Да нет, что там... Чаю выпил.

И Абатуров понимал, что Бояринову, только что внимательнейшим образом следившему за тем, чтобы бойцы были сытно накормлены, хочется ответить: „Завтракать будем в Грачах“ — или что-нибудь в этом роде, что соответствовало бы его приподнятому настроению.

Сидя за столом и глядя в карту, которую знал наизусть, Абатуров подумал, что наверное кажется сейчас Бояринову скучным и что его сухое лицо над картой несовместимо со всем тем, что делается на душе молодого человека.

„Он ждал этого часа четверо суток, — думал Абатуров, а я два с половиной года.

И он не понимает, не знает, что значит для меня этот предрассветный час“.

— Бывает с вами,— вдруг спросил Бояринов,— что в самый важный момент в голову приходят посторонние мысли?

— Допустим,— сказал Абатуров, удивившись неожиданному вопросу.— Ну, и что?

Бояринов покрутил головой, словно был недоволен таким ответом.

— Вы тогда наверное можете заставить себя думать о главном?— спросил он.

— Могу,— отвечал Абатуров.

— Так,— сказал Бояринов мрачно, но тут же лицо его просветлело.— А я вот сейчас думаю об одной девушке и о том, что люблю ее и что она любит меня...

Абатуров не знал, как продолжать ему этот разговор. Он смотрел на мальчишеское лицо Бояринова и спрашивал себя, всерьез ли все это.

— Уставом не запрещается,— попробовал отшутиться Абатуров.— Думайте о ней на доброе здоровье. Кстати, как ее зовут?

— Лизой,— отвечал Бояринов, не смущаясь.— Мне давно хотелось вам рассказать о ней, товарищ капитан. Вы ее, тем более, знаете. Она всегда приезжала к нам с шефами. Мы поженемся. Это решено.

Абатуров низко склонился над картой. Он вдруг как-то внутренне сгорбился, словно почувствовал боль от этой неожиданной исповеди.

— Я очень часто думаю о ней,— продолжал Бояринов.— Сказать правду — всегда. И даже в бою. Ну, в бою не то чтобы думаю, а она как будто всегда со мной. Как будто приросла ко мне. Вы меня извините, товарищ

капитан, — сказал он, вставая. — Хотелось поделиться. Разрешите идти?

— Подождите, — сказал Абатуров, сам не зная, почему он удерживает лейтенанта, и, оторвавшись от карты, посмотрел на Бояринова.

„Молодость, — думал Абатуров. — Ну, а я что — стар? Пережитое старит. И горе оставляет свои печальные следы. А они? — подумал он о Бояринове и о его невесте. — Знает ли он, что пережили они, из каких потемков выбиралась их молодость в страдные эти годы, на каком огне закалялась, чтобы торжествовать над любыми превратностями войны, на каком ветру креп голос, чтобы с такой чистотой сказать о любви до гроба?“

Абатуров выпрямился, встал и, подойдя к Бояринову, обнял и поцеловал его. Бояринов, удивленный и взволнованный, крепко пожал ему руку и молча вышел.

Без пятнадцати восемь Абатуров крикнул Бухарцева, и они вместе направились к наблюдательному пункту. Ити было метров пятьсот, и Абатуров не торопился.

Они шли в тишине. Вокруг не было заметно даже признака человека. Земля скрывает людей. Казалось невозможным, чтобы эти бедные перелески, овражки и тропочки могли внезапно ожить и наполниться грозным шумом. Где-то далеко вставало солнце, розовые пятна дрожали на горизонте. Наверное очень далеко, — свет едва проникал сюда; казалось, ночная темнота не исчезает, а присоединяется к черным, нависшим над землей и сопротивлявшимся рассвету тучам.

На наблюдательном пункте — крохотном блиндажике, возвышавшемся над местно-

стью, — уже находились телефонист, радист Чуважов и разведчик-наблюдатель. Передняя стенка блиндажа была полуоткрыта. Здесь были установлены стереотрубы.

Ровно в восемь Абатуров взял телефонную трубку и вызвал начальника штаба.

— От немцев ответа не было? Нет? Не сомневался. — Он вызвал Лобовикова. — Комиссар? Начинаем работать для тебя.

И как бы в ответ на его слова послышался сильный, словно рвущий вoadух, клекот моторов.

— Наши, — сказал разведчик. — „Петляковы“.

— Пикируют! — крикнул Бухарцев, и все услышали близкое звучание идущих в пики самолетов. Абатуров вышел из блиндажа.

В то же мгновение страшная сила молотом ударила по холмам.

Карающий молот работал с нарастающей быстротой и тяжестью, и вот, наконец, внутри холмов показался раскаленный полукруг, что-то горело у немцев в Грачах — полукруг расширялся, дрожа в еще темном ободке неба, словно боясь, что он расплещет сейчас по холмам смертельную свою лаву.

Начала работу наша артиллерия. Из ложины, где стояли „катюши“, бурно вырвались крупные клубы дыма и вдруг обратились в огненные кометы. Небо над Грачами, словно обожженное, полыхнуло яркочерным цветом, заявившим свое превосходство над тусклым цветом зимнего солнца. Абатуров снова спустился в блиндаж.

Когда закончилась артиллерийская подготовка, позвонил Лобовиков и коротко сообщил:

— Иду вперед.

Но Абатуров, казалось, не интересовался действиями своей роты и тем, что происходит сейчас в Грачах. Сев на ящик перед стереотрубой, обращенной на юг, и слегка поворачивая то вправо, то влево ее рогатые глаза, он просматривал горизонт.

Прошло пятнадцать минут, снова позвонил Любовиков и сообщил, что рота овладела немецкой траншеей, продвигаться трудно, огонь немцев сильный и сосредоточенный.

Абатуров молча кивнул головой. Перед собой он видел все тот же ничем не колеблемый горизонт.

Вдруг он услышал тихое посвистывание перелетевшего через НП снаряда и вслед за ним новое посвистывание. Свист нарастал, становился тяжелым и сильным.

— Фрицевские, — сказал разведчик, — бьют с юга.

Бухарцев выскочил из землянки и, вернувшись, доложил:

— Ложатся метрах в пятистах за штабом батальона... По пустым местам. Умора, товарищ капитан, — продолжал он смеясь. — В белый свет бьют, как в копеечку. Ну не знаешь куда, так не стреляй.

— Помолчи! — сказал Абатуров строго.

Но он разделял веселость своего ординарца и знал, что эта веселость незримо передается сейчас от одного человека к другому. Бояринов в своем блиндаже смеется над артиллерийской подготовкой немцев, смеются и бойцы, выдавшие виды. Им весело оттого, что они так искусно и скрытно устроились, что они перехитрили немцев. Абатуров подавил в себе эту

заразительную веселость. Он прижался к окулярам трубы, как будто желая увидеть полет снарядов и удостовериться, что немцы начали операцию, угаданную им четверо суток назад.

„Не для того пришли сюда немцы, чтобы смешить нас, — думал Абатуров. — Верно, что мы разгадали их план боя. Он заключается в том, чтобы в то время, как мы штурмуем Грачи, прорваться с юга и взорвать коридор. Но сейчас важно другое: мы обманули немцев, атаку одной нашей роты немцы приняли за штурм Грачей“.

Артиллерийская подготовка немцев длилась около часу. За это время дважды звонил Бояринов и докладывал: „Живем, как в раю“. Звонил начарт Верестов, с удовольствием ехидничая над немецкими артиллеристами. Абатуров продолжал напряженно думать над немецким планом боя.

„Они поверили в то, что мы уже начали штурм Грачей, — думал Абатуров, — потому что наш штурм был заранее предусмотрен в их плане. Последовательность — великая сила, но она же становится помехой, если не принимать во внимание новых, постоянно меняющихся условий. Эта „последовательность“ их и погубит“.

— Бояринова вызывайте живо! — крикнул он телефонисту и, соединившись с командиром роты, сказал:

— Отставить веселье. Внимание на дорогу и вдоль дороги.

Бояринов передал приказ по взводам. Разговоры и шутки прекратились. Люди понимали, что от них потребуются сейчас величайшая собранность, но лица людей оставались веселыми.

— Танки, — сказал разведчик. — Два, три, четыре, семь, девять, — считал разведчик, и голос его показался Абатурову удивительно звонким. Он не отрываясь смотрел на немецкие танки, он смотрел на них, как на старых знакомых, приход которых давно угадан.

Немецкие танки шли в две линейки по дороге и вдоль дороги, кучно, на небольшом расстоянии друг от друга.

— Открыли огонь, — все так же звонко говорил разведчик. — Пушка семьдесят пять миллиметров. „Тигры“. Первая линейка девять, вторую вижу плохо.

— Товарищ капитан!.. — не выдержал Бухарцев.

Абатуров поднял руку, словно требуя не мешать ему еще немного остаться наедине с немецкими танками.

— Вижу пехоту на танках, — сказал разведчик.

Абатуров взял трубку. Верстов был на линии.

— Огонь всей наличностью по танкам! — приказал он и резко опустил руку.

В первые минуты боя Абатуров ничего не мог различить. Черные фонтаны земли, смешанной с железом, забили впереди него и, соединившись друг с другом, обратились в один грохочущий, все закрывший собою вал. Требовать донесений Абатуров не мог. Как бы быстро ни старался Бояринов доносить, он прежде сам должен был видеть результаты первых залпов.

Но именно на эти первые минуты боя Абатуров возлагал свои надежды, решив поразить немцев огнём внезапным и сосредоточенным.

— Один есть, — сказал разведчик. — Твердо. Горит.

— Это чепуха — один, — сказал Абатуров. — Я сам вижу, что горит.

Он почти ненавидел сейчас этот блиндаж, из которого ни черта не видно, и стереотрубу, казавшуюся теперь неповоротливой, и с завистью думал о людях, которые там, впереди, все видят своими глазами.

Телефонист подал ему трубку. Он едва различил голос Лобовикова и скорее догадался, чем понял, что тот говорит.

— Огня, — просил Лобовиков. — Немцы из Грачей контратакуют.

— Огня не дам! — крикнул Абатуров. — Приказываю наступать!

— Два горят, — в это время докладывал разведчик. — Вижу — горят два.

— Мало! — крикнул Абатуров, как будто в этом был виноват разведчик. Но вот он увидел в стереотрубу танк, мчащийся вперед.

„Куда же он? Там же наши противотанковые ружья“, соображал Абатуров, словно сокрушаясь о незадачливом немце.

Танк исчез из вида, Абатуров, больше не выдерживая, приказал вызвать Бояринова.

— Сколько?

— Считаю, товарищ капитан, — отвечал Бояринов спокойно. — Девять, товарищ капитан.

— Умница, расцелую! — крикнул Абатуров.

— Вам за огонь спасибо, — отвечал Бояринов. Его спокойный голос словно прогрезвил Абатурова.

Абатуров привык к тому, чтоб командный пункт его батальона был в непосредственной близости к переднему краю. Условия, в ко-



торых он сегодня командовал, были ему внове. Для того чтобы добиться успеха, надо было не только привыкнуть к своей неподвижности, но и суметь оценить и воспользоваться ее преимуществами.

После первых мучительных минут Абатуров овладел собой. С новой силой представив себе задачу, которой посвятил себя, он как бы во-брал в самого себя движение боя и, попрежнему стараясь уловить все его подробности, сумел теперь отделить случайное от закономерного.

Немцы, потеряв девять машин, тем не менее не ослабили атаки, они лишь сконцентрировали ее на узком участке фронта, но теперь Абатуров приказал тяжелой батарее поддержать Лобовикова.

„Немцы могут подбить несколько наших противотанковых пушек, но помощи Грачам они этим не окажут, — думал Абатуров. — А вот если не сможет держаться Лобовиков, немцы из Грачей будут прорываться на соединение с южной их группировкой“.

— Танки прорвались, — донес в это время разведчик.

— Сколько? — спросил Абатуров.

— Три.

— Продвинулся пятьдесят метров, — сообщил телефонист о Лобовикове. — Спрашивает наши дела.

— Передай порядок, — сказал Абатуров.

— Вижу три танка, — говорил разведчик. — Идут в нашем направлении.

— Звонит Бороздин. Вас просит, — сказал телефонист.

— Что нужно? — спросил Абатуров, взяв трубку. — Скорее докладывайте.

— Разрешите. . . — послышался взволнованный, почти умоляющий голос Бороздина. — Разрешите моим КВ исправить ваше положение.

— Не разрешаю, — сказал Абатуров решительно.

— Один танк подбит, идут два наше направление, — говорил разведчик.

Где-то недалеко шмякнулся снаряд. Стереотруба задрожала.

— Один танк, — сказал разведчик.

Снаряды быстро и, как казалось Абатурову, поспешно рвались вблизи наблюдательного пункта. Абатуров руками обхватил стереотрубу, словно пытаясь придать ей равновесие.

Немецкий танк, блестя вспышками выстрелов, шел на НП.

„Если и эта атака у немцев сорвется, — думал Абатуров, — они попробуют двинуть пехоту. Бояринову надо первому ударить по немецкой пехоте“.

Он почувствовал, как к соседней стереотрубе подошел Бухарцев.

— Ты что? — спросил Абатуров.

Бухарцев не отвечал.

Абатуров заметил, что ординарец ощупывает карманы своих новеньких, с красными кантами, галифе. Вдруг, что-то крикнув, Бухарцев сорвался и выскочил из блиндажа.

Послышался дикий грохот, потом — словно вырвали пол из-под ног. Абатуров почувствовал несильную боль в голове и ужасающую тошноту. . .

Прошло мгновение (на самом деле прошло несколько минут), и он услышал чей-то голос:

— Живой? — спрашивал голос.

Абатуров приподнялся и больно стукнулся головой о что-то твердое. „Потолок рухнул“, подумал он.

— Живы? — спросил Абатуров.

— Телефониста убило, — отвечал тот же голос. — Прямое попадание снаряда с танка в блиндаж, товарищ капитан. Что с Бухарцевым — неизвестно. Он на танк выскочил.

Шум в голове Абатурова усиливался. Но движение Бухарцева, когда тот ощупывал гранаты в карманах новеньких своих галифе, он помнил отчетливо.

Впервые Абатуров застонал.

— Плохо вам, товарищ капитан?

— Как же теперь без связи с людьми? — недоумевающе сказал Абатуров.

— Без связи?! Товарищ капитан... Это я — Чуважов. Я цел, и рация цела.

Чуважов, рация. Связь с людьми. Абатуров приподнялся, снова стукнулся о потолок и, не замечая боли, подполз к рации.

— Вызывайте Бояринова, — сказал он радиисту.

— Раз, два, три, четыре, пять... Раз, два, три, четыре, пять... Я — Лось, я — Лось, я — Лось, — настраивал рацию Чуважов.

„Если у немцев не удастся и эта атака, они двинут пехоту“, восстанавливал Абатуров свои мысли.

— Абатуров живой? — услышал он голос в эфире, лишенный интонации.

— Лейтенант Бояринов, — объяснил Чуважов.

— Пусть докладывает, пусть докладывает, — сказал Абатуров.

— Нами подбиты семнадцать немецких танков, — услышал Абатуров. — Немцы сейчас не наступают.

— После артподготовки — всеми людьми, которые у тебя есть, пойдешь вперед и ударишь по немецкой пехоте, — приказал Абатуров. — Не зарывайся далеко. Ударишь, но не зарывайся.

— Старший лейтенант Бороздин вызывает, — сказал Чуважов.

— Прошу вашего разрешения, — начал голос Бороздина.

— Ничего не разрешаю, — сказал Абатуров. Мне, товарищ старший лейтенант, отсюда виднее, — добавил он и вдруг засмеялся, поняв несоответствие того, что он сказал, с положением, в котором он в данный момент находился.

В это время над рухнувшим блиндажом послышался шум, кто-то громко кричал, потом звякнули лопаты, врезаясь в мерзлую землю.

— Откапывают нас, — сказал разведчик, словно и здесь он первым должен был сообщать все, что происходит извне.

Уже стали видны бойцы, откапывавшие их, Абатуров увидел чью-то голову, почти целиком замотанную марлевым бинтом.

— Товарищ капитан! — крикнул голос. Абатуров протянул руку, вылез и узнал своего ординарца.

В нескольких метрах от бывшего НП тяжело осел немецкий танк. Огонь еще вылизывал его внутренности. Синий, остропахнувший бензином дым глубоко надвинутой шапкой прикрывал танк.

— Он близко подошел и по блиндажу ударил, — рассказывал Бухарцев, с деланным рав-

нодушнем разглядывая свою работу.— Ну, я, как увидел себя живым, дальше не пустил его.

По всей местности, сколько мог охватить глаз, горели немецкие танки. Вдалеке слышалось „ура“. Немецкая пехота отходила на юг.

Абатуров пристально смотрел на оружейные дымки, там и здесь плотными тучками стоящие в воздухе, на деревья со срезанными верхушками, на изменившиеся холмы, казавшиеся теперь пепельно-серыми, словно принявшими цвет неба.

Он подошел к радию.

— Бороздина вызывайте.

— Лось, Лось,— начал Чуважов, искоса поглядывая на Абатурова, догадываясь, что сейчас он передаст решительные слова.

— Старший лейтенант Бороздин вас слушает,— сказал Чуважов.

— Передавайте,— сказал Абатуров.— Нет... Дай-ка я сам.— Он взял от радиста наушники, надел их и, держа прямо перед собой микрофон, сказал:— Начинайте штурм немецкого гарнизона в Грачах. Ясно меня слышите?

— Ясно слышу,— отвечал счастливый голос Бороздина.

#### IV

Абатуров приказал Бояринову повернуть роту и, встречая огнем бегущих из Грачей немцев, с юга ворваться в Грачи.

Абатуров шел в цепи. В этой же цепи шли Бухарцев, голова которого поверх повязки была замотана камуфляжной робой, и Чува-

жов с походной рапией на спине. Последняя ркдиограмма, которую передал Абатуров Лобовикову и Бороздину, расшифровывалась так:

„Перехожу на новое НП: Грачи, здравница“.

Люди в цепи были утомлены боем, но в то же время втянулись в него и, словно проверив в трудном бою правильность Абатуровского плана, шли уверенно и охотно.

Время от времени командир роты передавал по цепи короткие команды, которые за грохотом артиллерии скорее угадывались, чем были слышны. Бояринов достиг того неуловимого, неуказанного ни в каких уставах и возможного только в бою управления людьми своей внутренней силой.

Абатуров видел лицо Бояринова, темное от грязи и казавшееся сейчас более взрослым, чем обычно. И это повзрослевшее лицо и простуженный голос делали Бояринова по-особому близким. Он подумал, что чувство это было бы еще сильнее, если бы утром, в ответ на доверие Бояринова, рассказал, что значит для него поход в Грачи.

— Немцы!.. — сдавленным голосом крикнул кто-то из бойцов.

— Готовсь! — пронеслось по цепи. Щелкнули затворы.

— Отставить команду... Не стрелять! — в ту же минуту крикнул Бояринов и в несколько прыжков очутился подле Абатурова.

— Что там? — недовольно спросил Абатуров. — Почему задерживаете огонь?

Бояринов растерянно подал ему бинокль.

— Посмотрите сами, товарищ капитан...

Абатуров схватил бинокль. Прошла минута, — он не отрывал бинокля от глаз.

— Рассыпьте цепь, — произнес, наконец, Абатуров, продолжая смотреть в бинокль и словно слившись с ним, — залечь... не стрелять... подпустить и в рукопашную... Исполняйте. — Он тут же лег на землю и, не чувствуя холода, всем телом прижался к ней. Прошла еще минута. Он лежал, обхватив землю руками, горькие струйки снега забивались ему в рот и уши.

Он стал отсчитывать секунды. Он закрыл глаза, чтобы лучше представить себе то, что видел в бинокль.

Он видел в бинокль женщин, женщин с поднятыми руками, медленно идущих впереди немцев.

Еще двадцать секунд, еще двадцать... Катышок мерзлого снега докатился до его лица. Идут прямо на цепь. Еще двадцать секунд, еще десять... В бинокль он не разглядел их лиц... Еще десять секунд, еще десять...

До него уже долетала снежная пыль, которую поднимали женщины, волоча ноги... Надо командовать... Еще пять секунд... Кажется, он не знает такой команды... Пять секунд... Пять секунд...

— За мной! — сказал Абатуров и резко оторвался от земли.

Он так и не разглядел женских лиц, мелькнувших перед ним. Внезапно для самого себя он очутился среди немцев и пистолетом ударил одного из них. Каска слетела с головы немца. Абатуров выстрелил.

Казалось, не выстрелил он — и люди забыли бы, что у них есть оружие. Каждому было необходимо вплотную сойтись с врагом, схва-

тить за горло и чувствовать, как под рукой слабеет немец, ударом кулака свалить на-смерть.

Весь день Абатуров руководил боем, в котором участвовала самая современная техника. Сейчас он дрался в бою, в котором оружием была человеческая сила.

Ударами прикладов выбивали из рук немцев автоматы, саперными лопатами рассекали головы, подымали на штык.

Женщины, неожиданно освобожденные Абатуровской засадой, разбежались. Вдруг Абатуров услышал женский крик. Нельзя было разобрать слов, да, быть может, и не было слов в этом крике. Абатуров обернулся, на мгновение увидел бегущую к нему женщину.

Абатуров потерял ее из вида и снова нашел ее: она вцепилась в немца и продолжала кричать, другие женщины ей отозвались и рванулись к немцам.

— Стой! — крикнул Абатуров. — Больше здесь живых немцев нет.

Женщины не поняли его приказа. Бойцы повторяли им Абатуровские слова.

Наконец одна пожилая женщина в рваном ватнике, простоволосая, подошла к Абатурову.

Вслед за ней другие женщины молча обступили Абатурова. Молчали бойцы. Молчал и Абатуров.

Он знал, что не имеет права больше задерживаться здесь, что сейчас дорога каждая минута, но он все стоял и смотрел на женщин, вглядываясь в их лица.

• Жены его не было среди них, но она *могла здесь быть*.

— Идемте, — сказала женщина в рваном ват-



нике, и Абатуров понял, что все его слова о том, что женщины истощены, что они не смогут дойти и что в Грачах бой,—будут напрасны. Он приказал Бояринову построить людей. И пока они пробирались по лесу, женщины не отставали от бойцов, словно боясь оказаться помехой.

Был уже вечер, но они различали друг друга — густой, багровый туман висел над ними, почти задевая верхушки деревьев. Когда они вышли из леса, им открылись Грачи — громадное пожарище, в котором проваливались и исчезали казавшиеся на фоне пламени совершенно черными стены и крыши домов.

Абатуров вбежал в горящую улицу и увидел немцев.

Кидая свои облитые смолой палки и перепрыгивая через эти трещающие огнем факелы, они бежали к южной окраине села. Бойцы Бояриновской роты расстреливали их в упор.

Танки, с севера прорвавшие мощные укрепления, медленно двигались по искалеченным улицам Грачей. Бойцы соскакивали с танков, врывались в дзоты, построенные на перекрестках, вытаскивали оттуда немцев или забрасывали гранаты в амбразуры.

Еще рвались снаряды на улицах, а уже из неизвестных подземелий выбегали люди и показывали бойцам немецкие убежища. Абатуров тщетно всматривался в их лица и прислушивался к незнакомым голосам; словно боясь, что он может не признать голос жены. Но Ольги не было здесь.

Они приближались к площади, уже были видны белое здание здравницы и ее пустые окна, в которых бился огонь. Женщина в рва-

ном ватнике бежала теперь впереди Абатурова. Вдруг она остановилась воле небольшого, стоящего в глубине палисадника и еще нетронутого пожаром домика. Оттуда был слышен стук станкового пулемета.

— Здесь, здесь жила раньше, — сказала женщина, — потом немец, а теперь... — Она бросилась к домику. Абатуров схватил ее.

— Теперь жизнь дорога, — сказал Абатуров.

Но в это время пулемет неожиданно смолк. Из дома выбежал боец и, признав Абатурова, остановился.

— Товарищ капитан, уничтожен немецкий офицер, взят один станковый пулемет. Докладывает рядовой Осокин.

— Осокин?.. — женщина медленно и, как показалось Абатурову, осторожно подошла к бойцу. Абатуров оставил их.

Он вышел на площадь. Бойцы сбивали огонь, занявшийся во втором этаже здравницы. Немецкие трупы валялись здесь вместе с патронными гильзами, пустыми консервными банками, исковерканными пишущими машинками, ящиками из-под мин и запалов гранат.

— Разворачивайте рацию быстро! — приказал Абатуров Чуважову. — Вызывайте командира полка.

— Передавайте, — сказал Абатуров. — Ваш приказ выполнен. Сегодня в 22.00 батальон овладел населенным пунктом Грачи. Немецкий гарнизон истреблен. Нанесен урон южной группировке противника, пытавшейся оказать помощь осажденным. Ожидаю ваших приказаний. Абатуров“.

Чуважов передал радиogramму и перешел на прием:

— «Передайте от имени генерала благодарность всему личному составу батальона и поддерживающей артиллерии. Южная группировка немцев разгромлена и отходит под ударами наших подразделений. Приказываю — дать отдых людям до утра и в 9.00 выступить на соединение со мной, Ягунов».

Вскоре в первом этаже здравницы, наскоро оборудованном под штаб батальона, собрались командиры рот: Верестов — по его обожженным рукам было видно, что он вместе с бойцами тушил огонь; Бороздин, в негнущемся от грязи и пота комбинезоне; Лобовиков, лицо которого было одновременно восторженным и утомленным до предела.

Абатуров передал приказ командира полка и поздравил каждого с выполнением поставленной перед батальоном задачи.

Лобовиков расцеловался с Абатуровым и сказал:

— Многих спасли, Алеша, многих!..

Он снял с себя свою истрепанную шинель и, бросив на пол, лег на нее и тут же заснул.

Абатуров отдал распоряжение о порядке завтрашнего марша и отпустил офицеров. Усталости он не чувствовал, спать не хотелось. Он вышел на площадь.

Все говорило о прошедшем бое — и трупы немцев, и брошенные винтовки с раздавленными ложами, и вадыбленный танк с порванной гусеницей и поникшей пушкой, и перевернутая повозка, в которую еще была впряжена убитая лошадь, но все это уже утратило свое неповторимое движение, которое только и есть жизнь.

Багровый туман медленно растворялся, открывая звездное небо. Абатуров пошел вверх по улице и остановился у дома, в котором когда-то жил с женой. Дом этот, сплюснутый воздушной волной, был безобразен. Крыша свисала почти до земли и едва поддерживалась мятыми стенами. Впервые со всей беспощадностью Абатуров признался себе, что он не нашел жены.

Но неужели никто не расскажет ему об ее судьбе?

Абатуров подумал о женщине, которая была с ним в бою.

„Может быть, она что-нибудь знает об Ольге?“

Он направился к ней. Проходя через палисадник, Абатуров увидел свет в домике, откуда доносились голоса и звучала гармонь.

— Стой, кто идет?

Абатуров назвал себя. Боец козырнул.

— А вы что за люди? — спросил Абатуров.

— Отделение автоматчиков, товарищ капитан. Размещены здесь по приглашению.

— Так, — сказал Абатуров. — Вас, значит, хозяйка пригласила, а вы ей спать не даете. Песни поете и на гармонии играете.

— Не до сна хозяйке, товарищ капитан, — сказал боец, усмехнувшись. — Автоматчик наш Осокин свою мамашу нашел, или она его нашла, — не знаю. Он здешний, Осокин, из Грачей. Это их дом, товарищ капитан. Осокин в этом доме немецкого офицера убил. Ну, в общем, встретились сын с матерью. Удивительно, товарищ капитан. . .

— Да. . . удивительно. . . — повторил Абатуров. Он вынул папиросы, закурил и дал заку-

рить бойцу. — Надо поздравить. — Он быстро вошел в дом.

При его появлении гармонь стихла. Войцы встали.

— Вольно! — приказал Абатуров.

Он сразу же увидел Осокину и рядом с ней ее сына и подошел к ним.

— Поздравляю вас, — сказал Абатуров. — И. . . — он не закончил фразы. Слова вдруг показались ему ненужными, лишними.

„Как у нее лицо изменилось, — подумал Абатуров, глядя на Осокину, — как будто свет изнутри. . .“

Осокин не принимал участия в песнях и разговорах своих товарищей, он словно оробел от присутствия матери и от чувств, приглушенных за эти годы, и вместе с тем задумался о завтрашнем, не похожем на пережитое, дне.

Абатуров тоже сел рядом с Осокиной. Втроем они молча слушали гармонь. Наконец Абатуров решился и спросил ее, знала ли она в Грачах Ольгу Абатурову.

— Абатурову? — По ее лицу он видел, что Осокина вспоминает с трудом. — Красивая такая. . . Волосы у нее были длинные. Она их в косу заплетала.

— Да, — сказал Абатуров и опустил голову.

— А вы, что же, ее знаете?

— Я ее муж, — ответил Абатуров.

— Господи, господи. . . — сказала Осокина.

— Убили?

— Не знаю. Вот уже год, как угнали в Германию.

Гармонист сделал перебор. Запели какую-то озорную песню.

Абатуров сидел неподвижно, положив руки на колени.

— Расскажите мне о жене,— попросил он.

— Работали мы вместе,— рассказывала Осокина.— Потом мы оттуда убежали. На третий день нас поймали. В лагере мы уже не вместе были. Но я о ней знала, что она жива. Ее из лагеря в Германию взяли. А я еще долго в лагере была; когда выпустили меня, мне говорят: слышишь, Абатурову угнали. Их, товарищ командир, целую партию погнали.

„Значит, может быть, Ольга жива“...— подумал Абатуров.

Он чувствовал, что никогда не поймет до конца того, что говорила ему Осокина. Слова— „поймали“, „взяли“, „угнали“, „лагерь“ можно понять только пережив.

Думая о жене, которая была, может быть, жива и находится там, в мире неизвестных ему страданий, он смотрел на лицо Осокиной.

„Это радость так его изменила“...

Абатуров попросился, вышел из дома, но все время он видел перед собой лицо Осокиной.

Ровный лунный свет лежал на сельской улице. Не задевая луны, низко пролетали облака. То там, то здесь возникала негромкая гармонь или слышалась песня. Странными кажутся на войне эти мирные звуки и эти мирные облака.

Сам не зная как, Абатуров снова очутился возле расплющенного воздушной волной дома. Но больше он не вспоминал прежних дней, проведенных здесь.

Он не нашел своей жены в Грачах.

Через несколько часов начнется новый его поход. И кто знает, быть может на улицах

Берлина его батальону суждено повторить сегодняшнее сражение. . .

„А если и там я не найду Ольги, — подумал Абатуров, — если *ее нет?*“

Он ничего не ответил себе. Он только видел перед собой лицо Осокиной и чувствовал, что не может быть в стороне от этой все проникающей радости освобожденного человека.

Он вспомнил свой разговор с Крутойяровым. Ему захотелось увидеть друга и с новой силой сказать ему о радости, которую он предчувствовал и время которой начинается.

И еще он подумал, что никогда не забудет сегодняшнего дня и Грачей, где впервые узнал и ощутил радость, — радость, доступную людям, выдержавшим испытание войной.

*Апрель - июнь 1944 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗИМНЯЯ ПОВЕСТЬ . . . . .	3
ФИГУРНАЯ РОЩА . . . . .	42
АЛЕКСЕЙ АВАТУРОВ . . . . .	85

Редактор А. Дымшиц  
Обложка Т. Цинберг

М 01163. Подписано к печати 18/III 1945 г.  
Тираж 15 000. Уч.-авт. л. 5,25. Печ. л. 4.  
Заказ № 732.

4-я типография им. Евг. Соколовой  
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа  
при СНК РСФСР,

Ленинград, Измайловский пр., 29.

Л49437

1945 г.
Акт № 670
Вкладн. л. _____

30



## СОДЕРЖАНИЕ

ЗИМНЯЯ ПОВЕСТЬ . . . . .	3
ФИГУРНАЯ РОЩА . . . . .	42
АЛЕКСЕЙ АВАТУРОВ . . . . .	85

### О П Е Ч А Т К И

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
4	12 св.	яжкие	тяжкие
4	13 св.	немного	немного
104	8 св.	горнизона	гарнизона

Зак. 732.

*Редактор А. Дымшиц*  
*Обложка Т. Цинберг*

М 01163. Подписано к печати 13/III 1945 г.  
Тираж 15 000. Уч.-авт. л. 5,25. Печ. л. 4.  
Заказ № 732.

4-я типография им. Евг. Соколовой  
треста «Полиграфкнига» ОГИЗа  
при СНК РСФСР,

Ленинград, Исамайловский пр., 29.

Лид 9437

1945 г.  
АКТ № 670  
Вкладн. л. \_\_\_\_\_

100

$\Lambda 30 \frac{F-1}{370a}$